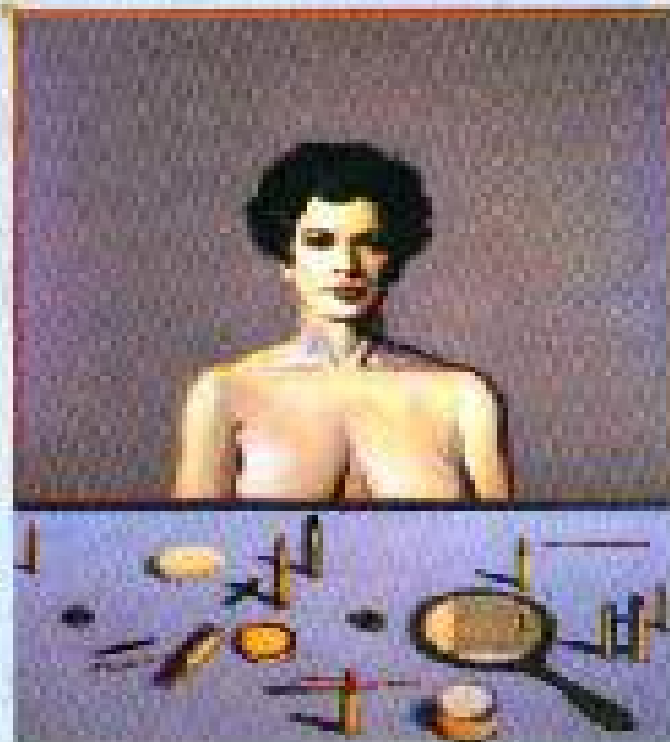


СИЛВИЯ ПЛАТ

*Под стеклянним
кожухом*



АМФІРА

ХАРБОВИЧ

Сильвия Плат (1932–1963) — считается в наши дни крупнейшей после Эмили Дикинсон поэтессой США. Однако слава пришла к ней уже посмертно: в 1963 г. эта талантливейшая представительница литературы 60-х, жена известного английского поэта Тома Хьюза, мать двоих детей, по собственной воле ушла из жизни. Ее роман «Под стеклянным колпаком» считается классикой американской литературы. С откровенностью посвященного С. Плат рассказывает историю тяжелой депрессии и душевного слома героини, которая мучительно изобретает пути ухода из жизни, а затем медленно возвращается к реальности.

- [Сильвия Платт](#)

- [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
-

Сильвия Платт

Под стеклянным колпаком

Стояло какое-то сумасшедшее, жаркое лето — то самое, когда отправили на электрический стул чету Розенбергов, и я сама не понимала, что делаю в Нью-Йорке. У меня идиотское отношение к казням. От одной мысли об электроэзекуции меня тошнит, а ведь только об этом и писали во всех газетах: гигантские заголовки, выпучив глаза, таращились на меня с каждого перекрестка и у каждых покрытых пылью и заплыванных ореховой шелухой дверей в подземку. Ко мне это не имело ни малейшего отношения, но я непрестанно думала о том, каково это, когда тебя заживо сожгут, умертвив все твои нервные окончания.

Мне казалось, что это страшнее всего на свете.

Сам по себе Нью-Йорк уже был достаточно скверен. В девять утра поддельная, а верней — подделанная под сельскую, свежесть, кое-как и кое-где скопившаяся за ночь, испарялась, как последние призраки сладостного сновидения. Пепельно-серые, как миражи, на дне своих гранитных ущелий, раскаленные улицы чуть покачивались на солнце, крыши автомашин подрагивали и сверкали, и сухой, горячий прах завевал мне в глаза и оседал в гортани.

Я постоянно слышала о чете Розенбергов — и по радио, и у себя в офисе, — и в конце концов они стали для меня чем-то вроде наваждения. Так было и в тот раз, когда я впервые увидела труп. Потом голова трупа — или то, что от нее осталось, — всплывала передо мной за завтраком, над яичницей с ветчиной, всплывала за плечами у Бадди Уилларда, которому я, собственно говоря, и была обязана таким впечатлением, — и в скором времени мне начало казаться, будто я таскаю за собой эту голову на веревочке, как черный безносый воздушный шар, пованивающий винным уксусом.

Я чувствовала, что-то со мной этим летом неладно, потому что я и думать-то могла только о Розенбергах, да еще о том, как глупо с моей стороны было покупать все эти неудобные дорогие наряды, висящие, как сушеные рыбы, у меня в шкафу, да еще о том, как все жалкие победы, которых я с таким воодушевлением добивалась и добилась в колледже, превратились в сущее ничто посреди мраморных и застекленных фронтонов Мэдисон-авеню.

А ведь предполагалось, что я должна ощущать себя на вершине блаженства.

А ведь предполагалось, что я являюсь предметом зависти для тысяч и тысяч точно таких же, как я, студенток колледжей по всей Америке, которым больше всего на свете хотелось бы разгуливать в точно таких же фирменных кожаных туфлях седьмого размера, что я приобрела себе однажды в обеденный час в «Блумингдэйле», присовокупив к ним черный кожаный фирменный пояс и черную кожаную фирменную сумочку. А когда моя фотография появилась в журнале, в котором мы, все двенадцать, сотрудничали, и я была представлена на ней попивающей мартини посреди фешенебельного бара, в узком серебристом корсаже из искусственной парчи, окутанная пышным облаком белого тюля и окруженная несколькими безымянными молодыми людьми общеамериканского вида, не то нанятыми, не то одолженными где-то по такому случаю, — каждый наверняка бы решил, будто я окунулась в сплошной поток наслаждений.

Поглядите-ка, какие чудеса случаются в этой стране, сказали бы люди. Девица, до девятнадцати лет дожившая в каком-то захолустном городишке и настолько бедная, что даже не может позволить себе подписаться на журнал, внезапно получает стипендию на обучение в колледже, а потом одну премию, другую премию — и вот уже роскошествует в Нью-Йорке, как в салоне собственной автомашины.

Только я никоим образом не роскоществовала, даже в собственном представлении. Я просто моталась из гостиницы в офис, из офиса на какую-нибудь вечеринку, а с вечеринки в

гостиницу и наутро опять в офис — строго по расписанию, как троллейбус. Я осознавала, что мне надлежит проникнуться восхищением, владевшим большинством моих компаньенок, но на самом деле я не испытывала ничего. Я ощущала себя очень тихой и очень пустой — как мертвая точка торнадо, безропотно перемещающаяся с места на место посреди окружающего ее неистовства стихий.

* * *

Нас, всех двенадцать, поселили в одной гостинице.

Все мы выиграла конкурс, объявленный журналом, прислав свои эссе, рассказы, стихотворения и рекламные тексты, и в награду нам предоставили месячную стажировку в Нью-Йорке с оплаченными издержками и великим множеством всяких дополнительных привилегий типа бесплатных билетов в балет, пропусков на показы мод и состязания парикмахеров в знаменитом и чрезвычайно дорогим салоне, а главное — нам дали шанс познакомиться с людьми, добившимися жизненного успеха на облюбованном нами поприще, и выслушать их советы и указания относительно того, как нам подступаться к делу самим.

И у меня до сих пор хранится подаренная мне тогда косметичка, предусмотрительно предназначенной для особы с каштановыми волосами и карими глазами: кружок коричневой туши с тончайшей кисточкой, чашечка синих теней для глаз в аккурат такую размера, чтобы вы могли погрузить туда кончик пальца, и три тюбика губной помады — розовая, красная и ярко-красная — и все это в золоченой коробочке с зеркальцем на внутренней стороне крышки. Сохранилась у меня и белая пластмассовая оправа солнечных очков с набором цветных и дымчатых стекол и с наклеенной на нее золотой рыбкой.

Я понимала, что нас задаривают только потому, что для заинтересованных фирм это является своего рода бесплатной рекламой, но не могла относиться к такому с циническим равнодушием. Весь этот ливень подарков, обрушившийся на нас, доставлял мне огромную радость. Потом, какое-то время спустя, я убрала подарки с глаз долой, но позже, уже поправившись, достала их и разложила по всему дому на видных местах. Время от времени я крашусь теми помадами, а неделю назад я отклеила золотую рыбку от очков и дала ею поиграться моему ребенку.

Итак, мы, все двенадцать, жили в одной гостинице, в одном и том же корпусе и на одном этаже, в одноместных номерах, расположенных рядом по коридору, и это напоминало общежитие в нашем колледже. Гостиница не была настоящей гостиницей — то есть такой, где мужчины и женщины живут вперемешку на одном и том же этаже.

Эта гостиница — она называлась «Амазонка» — была предназначена исключительно для женщин, и жили здесь главным образом девицы примерно моего возраста, дочери богатых родителей, желавших, чтобы их чада поселились там, куда не могли проникнуть — и соответственно соблазнить их — мужчины. Все эти девицы собирались поступить на курсы секретарш вроде тех, которые ведет Кэти Гиббс, где на занятия надлежит являться в шляпах, перчатках и чулках, или же только что закончили курсы такого типа и стали секретаршами у каких-нибудь важных шишек, или же просто околачивались в Нью-Йорке, ожидая, пока им не сделает предложение руки и сердца какой-нибудь преуспевающий молодой человек.

Мне казалось, что все девицы чудовищно скучают. Я видела их в солярии на крыше: они зевали, и красили ногти, и пытались сохранить свой бермудский загар, и, главное, невероятно скучали. Я как-то разговорилась с одной из них — и ей «чудовищно» надоели яхты, и надоели перелеты с материка на материк, и надоело катание на лыжах в Швейцарии на Рождество, и

надоели бразильские кавалеры.

От таких девиц мне просто дурно. Я испытываю к ним такую зависть, что у меня пропадает дар речи. Мне девятнадцать лет, а я еще нигде, кроме своей Новой Англии, не была. Если не считать нынешней поездки в Нью-Йорк. Сейчас мне впервые представился настоящий шанс — и что же? Я упустила его, я теряла его, он просачивался у меня сквозь пальцы, словно пригоршня влаги.

Мне кажется, одной из причин моих затруднений была Дорин.

Раньше я никогда не встречала особ вроде нее. Дорин приехала из колледжа для богатых девиц где-то на Юге, и у нее были белокурые, почти совершенно белые волосы, превращавшие ее голову в комок сладкой ваты, и синие глаза, похожие на прозрачные агатовые шарики, — глаза блестящие, твердые и в каком-то смысле неуязвимые, — и рот, слегка искривленный вечной ухмылочкой. Я не хочу сказать: грязной ухмылочкой, но таинственной и вместе с тем радостной ухмылочкой, как будто все окружавшие ее люди были невероятно и уморительно глупы, а она сама могла, если б ей только захотелось, в любой момент отмочить о любом из них смачную шутку.

Дорин сразу же выделила меня из всей компании. Она дала мне понять, что я намного умней остальных, а сама она и впрямь была поразительно интересна. Обычно она подсаживалась ко мне в зале для заседаний и, пока очередная заезжая знаменитость нас поучала, нашептывала на ухо какие-нибудь саркастические замечания относительно данной персоны.

В их колледже, рассказывала она мне, воспитывали такое чувство стиля, что тетрадные обертки у девиц изготовлялись из того же материала и были того же цвета, что и платья, и соответственно к каждому платью полагалась своя сумочка. Детали подобного рода всегда производят на меня сильное впечатление. Из них складывается или за ними угадывается жизнь, полная изысканного и чудесного декаданса, притягивающая меня, как магнит.

Единственное, за что Дорин постоянно распекала меня, было мое обыкновение представлять порученную работу в точности к положенному времени.

— С какой стати так надрываться?

Дорин опустилась ко мне на постель в своем шелковом халатике телесного цвета и заскребла длинными прокуренными ногтями, подравнивая их, о край моего стола, пока я начисто перепечатывала на машинке текст интервью, взятого мной у одного известного прозаика.

И вот еще что: все мы разгуливали по гостинице в хлопчатобумажных ночных сорочках до пят и в махровых домашних халатах или в просторных робах, которые не без некоторого усилия можно было бы выдать за пляжные одеяния, а Дорин щеголяла в полупрозрачном нейлоновом белье и в телесного цвета халатах в обтяжку — настолько в обтяжку, что казалось, будто вот-вот от нее посыплется искры. У нее был интригующий, чуть отдающий потом запах, который напоминал запах листьев папоротника, когда сорвешь их и разотрешь в руке, чтобы понюхать.

— Ты ведь сама прекрасно знаешь: твоей старухе Джей Си абсолютно наплевать, поспеешь ли ты с этой работой к завтрашнему дню или только к понедельнику. — Дорин раскурила сигарету и медленно выпустила дым из ноздрей, глаза ее при этом чуть увлажнились. — Джей Си страшна, как смертный грех, — хладнокровно добавила она. — Бьюсь об заклад, что ее старикан вырубает весь свет в доме, прежде чем подлечь к ней, не то ему пришлось бы плевать не переставая.

Джей Си была моей начальницей, и она мне нравилась, невзирая на то что произнесла сейчас Дорин. Ее, конечно, нельзя было назвать одной из всегдашних редакционных куколок с накладными ресницами и в ослепительных драгоценностях. Но у Джей Си варил котелок, так

что ее внешность, и впрямь уродливая, не имела никакого значения. Так мне, по крайней мере, казалось. Она знала несколько иностранных языков и была знакома со всеми писателями, всерьез задействованными в литературном процессе.

Я пыталась представить себе Джей Си снявшей свой строгий, деловой костюм и неизменную шляпку, в которой она восседала на редакционных ленчах, пыталась представить себе ее в постели с жирным супругом, но у меня не выходило. Мне всегда было трудно вообразить людей, забирающихся вдвоем в одну постель.

Джей Си пыталась меня чему-то научить. Все пожилые дамы, с которыми я была знакома, пытались меня чему-то научить, но как-то вдруг мне стало казаться, что научить меня им нечему. Я надела на машинку футляр и защелкнула его.

Дорин ухмыльнулась:

— Вот и умница.

Кто-то постучал в дверь.

— Кто там? — Я даже не потрудилась встать.

— Это я, Бетси. Ты едешь на вечеринку?

— Скорей всего. — Я по-прежнему не торопилась открывать.

Бетси завезли к нам в порядке импорта из штата Канзас. У нее был белокурый «конский хвост» и белозубая улыбка «любимой девушки отличного парня». Припоминаю, как-то раз нас вдвоем с ней пригласили в офис к телепродюсеру — мужику с дряблым, синюшного оттенка подбородком, одетому в полосатый костюм, — которому угодно было выяснить, нет ли у нас идей, поддающихся использованию в его программе, и Бетси сразу же принялась рассказывать ему о канзасской пшенице. О том, что она бывает двух видов. Женская и мужская. Она пришла в такой экстаз, рассказывая об этой проклятой пшенице, что даже у продюсера на глазах появились слезы. «Чертовски жаль, что этого нельзя использовать в программе», — сказал он.

А несколько позже издатель журнала «Красота» убедил Бетси срезать «конский хвост» и поместил ее фотографию на обложку — и мне до сих пор время от времени попадает ее лицо, улыбающееся с пропотелых маек, какие носят грудастые домохозяйки.

Бетси вечно подбивала меня затеять что-нибудь с нею и с остальными девицами, как будто пытаюсь спасти. А Дорин она никогда никуда не приглашала. Наедине со мной Дорин называла ее Поллианной-телятницей.

— Ты поедешь с нами в машине? — спросила Бетси из-за двери.

Дорин затрясла головой.

— Не беспокойся, Бетси. Я поеду с Дорин.

— Ладно. И я услышала, как она топает дальше по коридору.

— Побудем там, пока не остохренеет, — сказала Дорин, гася сигарету об изножье моей настольной лампы, — а потом смоемся в город. Эти вечеринки, которые тут для нас устраивают, сильно смахивают на танцульки в физкультурном зале. И почему только для нас вечно приглашают этих парней из Йейля? Они такие идиоты!

Бадди Уиллард был из Йейля, и сейчас, задним числом, размышляя, в чем же его беда, я понимаю, что он был идиотом. Да нет, он, конечно же, учился только на «отлично» и сумел даже завести интрижку с какой-то чудовищной официанткой по имени Глэдис, но у него абсолютно отсутствовала интуиция. А у Дорин интуиция была. Все, что она говорила, было подобно таинственному голосу, вещавшему из моего собственного чрева.

Был час, когда люди едут в театр, и мы попали в пробку. Наша машина застряла. Впереди застряла машина, в которой ехала Бетси, а сзади — машина с четырьмя другими девицами.

Дорин выглядела умопомрачительно. Она была в белом декольтированном платье в обтяжку, столь сильно перетянута в талии, что все выше талии и все ниже буквально выпирало наружу, а ее кожа под тонким слоем пудры отливала бронзовым загаром. Надушилась она так, что от нее пахло, как из парфюмерного магазина.

Я была в черном чесучовом платье, смахивающем на панцирь, хотя и обошедшемся мне в сорок долларов — немалая доля из общей суммы стипендии, полученной мною одновременно с известием о том, что я попала в число счастливиц на стажировку в Нью-Йорк. Платье было настолько нелепо скроено, что я не могла надевать под него лифчик, но это не имело особого значения, потому что была я кожа да кости, и притом совершенно безгрудая, а вдобавок ко всему мне нравилось чувствовать себя почти обнаженной жаркими летними вечерами.

Пребывание в большом городе подпортило мой загар. Я стала желтой, как китайка. В иной ситуации я занервничала бы из-за платья и дурацкого цвета кожи, но присутствие Дорин заставляло меня забывать о тревогах. Я чувствовала себя циничной, мудрой и всезнающей.

Когда мужчина в синей джинсовой рубашке и синих джинсах, обутый в кожаные ковбойские сапоги на высоком каблуке, высмотрел нас в машине и двинулся нам навстречу из-под навеса уличного кафе, у меня, конечно же, не возникло ни малейших иллюзий. Я прекрасно поняла, что он начал охоту на Дорин. Мужчина проложил себе дорогу среди застрявших автомашин и с любезным видом склонился к открытому окошку нашей.

— А что, позвольте узнать, делают две очаровательные молодые особы таким чудесным вечером? И куда это они едут — без кавалеров, одни-одинешеньки?

У него была широкая улыбка, как на рекламе зубной пасты.

— Мы едем на вечеринку, — выскочила с ответом я, потому что Дорин внезапно онемела, как часовой на посту, и лишь томно обмахивалась сумочкой, будто веером.

— Какая тощища! А почему бы вам не пропустить со мной стаканчик-другой прямо в этом баре? Да и друзья тут у меня тоже найдутся.

Он кивнул в сторону нескольких крайне неряшливо одетых молодых людей, стоявших и сидевших под навесом. Они внимательно наблюдали за его приставаниями и, встретившись с ним взглядом, громко захохотали.

Этот смех должен был насторожить меня. Это был смех грубый и циничный, но тут на светофоре зажегся зеленый свет, и я поняла, что если я промолчу, то через пару секунд начну упрекать себя в том, будто упустила еще один шанс повидать в Нью-Йорке хоть что-нибудь, кроме того, что с такой заботливостью приуготовила нам редакция журнала.

— Как насчет этого, Дорин? — спросила я.

— «Как насчет этого, Дорин?» — передразнил мужчина, улыбаясь своею белозубой улыбкой.

Я не могу припомнить, как он выглядел в те мгновения, когда не улыбался. Мне кажется, он только и делал, что улыбался всю дорогу. Должно быть, он таким родился — с улыбкой на устах.

— Что ж, ладно, — скачала Дорин, обращаясь ко мне.

Я открыла дверцу, и мы вылезли из машины как раз в ту минуту, когда она готова была тронуться с места. Мы направились было в бар.

Раздался чудовищный скрежет тормозов, сопровождаемый глухим звуком удара.

— Эй, вы! — Таксист высунулся из окошка. Судя по выражению лица, он был в бешенстве. — Что это вы вытворяете?!

Он затормозил столь резко, что машина, ехавшая следом, стукнулась носом ему и кузов, и нам было видно, как четыре девицы в ней, размахивая руками и цепляясь друг за друга, полетели

кубарем.

Мужчина рассмеялся, оставил пас посреди мостовой, подошел к брошенной нами машине и сунул таксисту в самый разгар суматохи какую-то купюру, и тут же девицы из журнала тронулись с места — одна машина за другой, как некая свадебная процессия, состоящая почему-то из одних невест.

— Айда с нами, Фрэнки, — сказал наш спутник одному из своих друзей, и тот — кряжистый коротышка — отделился от компании и пошел во внутреннее помещение бара вместе с нами.

Таких парней, как он, я просто не выношу. Во мне, когда я на каблуках, пять футов десять дюймов, и стоит мне оказаться вдвоем с женщиной ниже меня, я начинаю сутулиться и перекашивать бедра — одно поднимаю, а другое опускаю, — чтобы выглядеть не так нелепо, а чувствую себя при этом отвратительно, как под лучом рентгеновского аппарата.

Какую-то минуту я питала идиотскую надежду на то, что мы разобьемся на пары в соответствии с ростом, что свело бы меня с тем, кто пригласил нас, а в нем было добрых шесть футов, но он, не удостоив меня и взглядом, пошел вперед об руку с Дорин. Я попыталась сделать вид, будто не замечаю, как Фрэнки норовит взять меня под руку, и села за столом рядом с Дорин.

В баре было так темно, что я не могла никого и ничего разглядеть. Кроме Дорин. А она, со своими белокурыми, почти совершенно белыми волосами и в белом платье, выглядела просто серебряной. Мне кажется, она отражала неоновый свет, падающий от стойки бара. А сама я ушла куда-то в тень и расплылась в ней, как негатив фотографии, изображающей некую персону, которую я ни разу в жизни не видела.

— Ладно, что же мы выпьем? — спросил белозубый незнакомец.

— Чего-нибудь в добром, старом стиле, — сказала мне Дорин.

Выбор напитка всегда приводит меня в замешательство. Я не отличаю виски от джина и ни разу еще мне не удавалось выпить чего-нибудь по-настоящему вкусного. Бадди Уиллард и другие парни из колледжей, с которыми я водилась, были слишком бедны, чтобы заказывать крепкие напитки, или же вообще не употребляли спиртного. Просто поразительно, сколько студентов не пьют и не курят по принципиальным соображениям! И чуть ли не все они водят со мной компанию. Верхом разврата для Бадди Уилларда была бутылка дюбонне, да и ту то, он заказывал или покупал единственно затем, чтобы доказать, что чувство прекрасного ему не чуждо, хотя он и изучает медицину.

— Выпью водки, — сказала я.

Незнакомец посмотрел на меня чуть более пристально:

— Хорошо, водки, а с чем?

— Чистой водки. Я всегда пью чистую.

Мне не хотелось садиться в лужу, объявляя, что буду пить водку со льдом, или с джином, или еще с чем-нибудь. Я однажды видела водку, полный стакан чистой водки, стоявший во льду и высвеченный голубым светом, и водка показалась мне прозрачной и чистой, как вода, поэтому я и подумала сейчас, будто чистая водка — это именно то, что мне нужно. Я мечтала как-нибудь однажды наугад заказать напиток и внезапно обнаружить, что он замечателен на вкус.

Подошел официант, и незнакомец заказал выпивку на всю нашу четверку. В этом весьма фешенебельном баре он в своем ковбойском наряде держался с такой непринужденностью, что я решила, будто он наверняка какая-нибудь знаменитость.

Дорин не произносила ни слова, она лишь играла со своею пробковой салфеткой да время от времени закуривала новую сигарету, но незнакомец, казалось, ничуть не был этим раздосадован. Он, не отрываясь, смотрел на нее — причем так, как посетители зоопарка пялятся

на какую-нибудь макаку, ожидая, что она заговорит по-человечески.

Прибыли напитки, и мой выглядел прозрачным и чистым, как и подобает выглядеть водке.

— Чем вы занимаетесь? — спросила я у пригласившего нас человека только для того, чтобы нарушить молчание, которым уже начала обрастать со всех сторон, как травой джунглей. — Я хочу сказать: чем вы занимаетесь здесь, в Нью-Йорке?

Медленно и с явной неохотой незнакомец отвел взгляд от обнаженных плеч Дорин:

— Я диск-жокей. Вы, должно быть, обо мне слышали. Меня зовут Ленни Шеперд.

— Я вас знаю, — внезапно произнесла Дорин.

— Я рад этому, солнышко, — ответил Ленни и разразился смехом. — Но, собственно говоря, в этом нет ничего удивительного. Я дьявольски знаменит.

Затем он умолк и, словно чего-то ожидая от приятеля, посмотрел на Фрэнки.

— А вы, дорогие, откуда? — встрепнулся тот. — Как вас звать?

— Это вот Дорин. — Ленни обвил рукой обнаженные плечи моей подруги и потрепал их.

Меня крайне удивило, что Дорин и не вздумала этому воспротивиться. Она сидела, темноликая, как крашенная негритянка, в своем белом платье, и задумчиво потягивала из бокала.

— Меня звать Элли Хиггинботтом, — сказала я. — Я приехала из Чикаго.

И сразу же почувствовала себя уверенней. Мне не хотелось бы, чтобы хоть какая-то малость из того, что я скажу или сделаю в этот вечер, ассоциировалась с моим подлинным именем и бостонским происхождением.

— Что ж, Элли, а не сбавать ли нам танчик?

Сама мысль о том, чтобы пойти потанцевать с этим коротышкой в оранжевых башмаках на высоком каблуке, жалкой рубашонке и потрепанном синем костюме спортивного фасона, едва не заставила меня расхохотаться. Если и есть на свете что-нибудь, что я презираю, то это мужчины в синем. В черном, в сером, в коричневом — сколько угодно. Но мужчин в синем не выношу.

— Что-то я не в настроении, — холодно ответила я и, отвернувшись от него, придвинула стул еще ближе к стульям Дорин и Ленни.

Эта парочка выглядела сейчас уже так, словно они знали друг друга целую вечность. Дорин крошечной серебряной ложечкой поддевала ягоду со дна своего бокала, а Ленни чавкал каждый раз, как она подносила ложку к губам, изображая из себя собаку, готовую выхватить у нее добычу. Дорин хихикала и продолжала выуживать ягоды из коктейля.

Мне начало казаться, что в водке я наконец-то обрела свой напиток. У нее вообще не было никакого вкуса, но она проникала мне в живот, как шпага — в живот шпагоглотателю, и заставляла меня чувствовать себя могущественной и богоподобной.

— Пойду-ка я, пожалуй, — сказал Фрэнки, поднимаясь с места.

Я не в состоянии была хорошенько разглядеть его: здесь было слишком темно и накурено, но, пожалуй, впервые я услышала, какой писклявый и противный у него голос. Никто не обратил на Фрэнки никакого внимания.

— Послушай-ка, Ленни, ты мне кое-что должен. Помнишь, Ленни, что ты мне кое-что должен? А, Ленни?

Я подумала, как это странно, что Фрэнки напоминает Ленни о долге в нашем присутствии, мы ведь совершенно посторонние люди; но Фрэнки не уходил и все время хныча повторял одно и то же, пока Ленни не полез в карман и не достал оттуда целую кучу денег. Выбрав из нее одну бумажку, он сунул ее Фрэнки. Кажется, это было десять долларов.

— Заткнись и вали отсюда.

На мгновение мне почудилось, будто Ленни говорит это не только своему приятелю, но и мне, однако тут я услышала слова Дорин:

— Никуда без Элли не поеду.

Надо отдать ей должное: мое фальшивое имя она запомнила с первого раза.

— Ах, да Элли поедет! Верно, Элли? — И Ленни подмигнул мне.

— Конечно, поеду.

Фрэнки уже растаял в ночи, а против Дорин и ее спутника я ничего не имела. Мне хотелось повидать здесь как можно больше.

Я люблю наблюдать за людьми, оказавшимися в критической ситуации. Если я становлюсь свидетельницей дорожной аварии или уличной драки или же мне в лаборатории показывают мертвого младенца под стеклянным колпаком, я гляжу во все глаза и стараюсь навсегда запомнить это зрелище.

Таким образом мне удалось узнать множество людей, которых я ни за что не узнала бы иначе, — и даже если они удивляют меня или причиняют мне боль, я никогда не отвожу глаз и делаю вид, будто мне и без того известно, что на самом деле мир именно и настолько ужасен.

Квартиру Ленни невозможно было спутать с чьей-нибудь другой.

Она представляла собой точную копию внутреннего дворика на каком-нибудь ранчо, оборудованную, однако же, в многоквартирном нью-йоркском доме. Как он рассказал, кое-что тут ему пришлось перестроить, чтобы сделать помещение пошире, а к тому же он велел обшить сосновой панелью стены и соорудил специальный, также из сосновой панели, бар в форме подковы. Пол, как мне кажется, тоже был обшит сосной.

Огромные шкуры белых медведей были раскиданы па полу, а единственной мебелью служили несколько низких кроватей, застланных индейскими коврами. Вместо картин стены были украшены лосиными и бычьими рогами и чучелом кроличьей головы. Ленни потрепал кролика за нос и за окоченело застывшие уши:

— Переехал через него в Лас-Вегасе.

Он прошелся по комнате, и стук его каблуков казался пистолетными выстрелами.

— Акустика, — прокомментировал он и, становясь все меньше и меньше, исчез в каком-то внутреннем помещении.

И сразу же со всех сторон па нас обрушилась музыка. Затем она смолкла, и мы услышали голос Ленни, произносящий: «Перед вами ваш полуночный диск-жокей Ленни со свежеей порцией пляски и пенья. Наш Номер Десять в силах перевесить ту штуку, что развеяла скуку прошлую ночью, разорвав ее в клочья. Итак, для самых бессонных ночная песня „Подсолнух“!»

Родилась я в Канзасе, обжилась я в Канзасе,
И когда отдалась — отдалась я в Канзасе!

— Зашибись, — сказала Дорин. — Просто зашибись.

— Не то слово.

— Послушай-ка, Элли, обещаю тебе кое-что, ладно?

Сейчас ей наверняка уже казалось, что меня и на самом деле так зовут.

— Конечно!

— Не вздумай сваливать, хорошо? А то мне с ним не совладать, если он вдруг начнет чудить. Ты видала, какие у него мускулы? — Дорин хихикнула.

Ленни вышел из задней комнаты:

— У меня тут на двадцать тысяч аппаратуры.

Он подошел к бару, взял три бокала и серебряное ведерко со льдом, а также большой миксер и принялся смешивать нам коктейль, подливая из разных бутылок.

Обещала мне ждать — и велела мне ждать.
А когда позабыла — позабыла мне дать.

— Потрясуха, точно?

Ленни подошел к нам, держа в руках все три бокала. Большие капли выступили на их поверхности, как пот, а кубики льда, пока он приближался к нам, звенели. И продолжали звенеть, когда Ленни передал бокалы нам. И тут музыка прервалась, и мы услышали, как голос Ленни объявляет следующий номер.

— Ничего нет приятней, чем послушать самого себя. Эй, подружка! — Взор Ленни на

мгновение задержался на мне. — Фрэнки свалил, и хрен с ним. А тебе-то чего пропадать? Сейчас я свистну кого-нибудь из парней.

— Со мной все в порядке. Никого звать не нужно.

Не сообщать же ему, что хорошо бы позвать парня на несколько размеров больше, чем Фрэнки.

Ленни с явным облегчением вздохнул.

— Главное, чтобы тебе было хорошо. Я не хочу обижать подружку моей Дорин. — Он широко улыбнулся ей. — Верно ведь, солнышко?

Он протянул Дорин руку, и, не сказав друг другу ни слова, они принялись пританцовывать на месте, по-прежнему держа бокалы в свободной руке.

Я села на одну из кроватей и закинула ногу на ногу. Я старалась выглядеть равнодушной и бесстрастной. Однажды я видела группу пожилых бизнесменов, видела, как они безучастно наблюдают за алжирской танцовщицей, исполняющей танец живота, — вот на них я и попыталась было походить. Но стоило мне прислонить голову к стене под чучелом кролика, как кровать поехала по комнате на колесиках, я слетела с нее и очутилась внизу, на медвежьей шкуре, и голова моя прислонилась не к стене, а к кровати.

Мой напиток был каким-то водянистым и навевал на меня печаль. Каждый глоток все больше и больше отдавал на вкус затхлой водой. Посредине бокала было нарисовано алое лассо с желтыми крапинками. Я отпила уже на дюйм ниже этого лассо, немного обождала, а когда вновь поднесла бокал к губам, он был почему-то опять полон.

Откуда-то сверху, из динамиков, доносился голос Ленни:

— Вай-вай-вай, где мой родной Вайоминг?

Эта парочка не прекращала приплясывать даже в интервалах между музыкальными номерами. Мне показалось, будто я съежилась и превратилась в крошечное черное пятнышко на всех этих красных и белых коврах и сосновых панелях. Я чувствовала себя щелью в здешнем полу.

Есть нечто глубоко печальное в том, что наблюдаешь, как двое людей все более и более влюбляются друг в друга, особенно если ты единственный свидетель этой сцены.

Это все равно, что смотреть на Париж из окна купе, а поезд твой уносится прочь — и с каждой секундой город становится все меньше и меньше, и ты понимаешь, что на самом-то деле меньше и меньше, все более одинокой становишься ты, уносясь от всех тамошних огней, приключений и восторгов со скоростью миллион миль в час.

Все чаще и чаще Ленни и Дорин сталкивались друг с дружкой во время танца — и тогда они целовались, отхлебывали из бокалов и вновь обнимались. Мне хотелось просто растянуться здесь, на медвежьей шкуре, и заснуть, и проспать до той поры, пока Дорин не вздумается отправляться домой.

И вдруг Ленни взревел. Я села на полу. Дорин впилась зубами в ухо своему кавалеру.

— Отпусти, сука!

Ленни рванулся, и Дорин, взлетев в воздух, оказалась у него на плече, бокал выпал у нее из руки и, описав по воздуху длинную и широкую дугу, со слабым звоном ударился о стенную панель. Ленни, держа в руках Дорин, по-прежнему ревел и вертелся на месте с такой скоростью, что мне было совершенно не видно ее лица.

Я заметила, почти автоматически, как отмечаешь цвет чьих-либо глаз, что груди Дорин выскользнули из платья и слегка качаются в воздухе, как две спелые темно-янтарные дыни, а сама она, упав животом на плечо Ленни и судорожно суча ногами, кружится по комнате; но тут они оба расхохотались и начали кружиться помедленней, и Ленни потянулся укунить Дорин за попку сквозь платье в обтяжку — а я опрометью бросилась бежать из квартиры, чтобы не

становиться свидетельницей дальнейшего, и, держась обеими руками за перила, кое-как спустилась по лестнице, причем даже не столько спустилась, сколько съехала.

Пока я не очутилась на лестнице, я и не подозревала о том, что в квартире у Ленни работал кондиционер. Тропическая, скопившаяся за день на тротуаре жара обрушилась на меня последней пощечиной. И главное, я и понятия не имела, где нахожусь.

Минуту-другую я подумывала о том, чтобы взять такси и поехать в конце концов на званый вечер, где веселились мои подруги, но затем отказалась от этой мысли, потому что танцы скорей всего уже закончились и мне вовсе не хотелось попасть в опустевший ангар танцевального зала, пол в котором усеян конфетти, окурками и скомканными салфетками, какие подают к коктейлям.

Я осторожно подкралась к ближайшему перекрестку, для пущей безопасности проводя пальцем левой руки по стенам домов, и поглядела на указатель. Затем достала из сумочки туристический план Нью-Йорка. Сорок три улицы и пять авеню отделяли то место, где я сейчас находилась, от гостиницы.

Ходьба пешком никогда не причиняла мне никаких неудобств. Определив нужное направление, я пошла, ведя про себя счет пройденным кварталам, и, когда очутилась наконец в гостиничном холле, почувствовала себя полностью отрезвевшей, и только ноги себе слегка натерла, по и то по своей вине, потому что не надела носков или чулок.

Холл был совершенно пуст, если не считать ночной дежурной, тихо посапывающей у себя за стойкой посреди ключей от номеров и безмолвных телефонных аппаратов.

Я вошла в автоматический лифт и нажала кнопку своего этажа. Дверца лифта съехала беззвучной гармошкой. В ушах у меня зазвенело, к я увидела огромную, грязноглазую китаянку, идиотически уставившуюся мне в лицо. Разумеется, это была я сама. Неприятно было убедиться в том, насколько усталой и потрепанной я выгляжу.

В холле на этаже не было ни души. Я прошла к себе в номер. Он был полон дыма. Сначала я подумала, что этот дым материализовался из воздуха, как своего рода воздаяние мне за мои грехи, но потом вспомнила, что здесь накурила Дорин, и нажала на кнопку, открывающую форточку. Окна здесь были устроены так, что открыть их полностью и, скажем, высунуться наружу было нельзя, и почему-то это привело меня в бешенство.

Стоя у окна слева и прижавшись щекой к оконной раме, я видела панораму города со зданием ООН, подобным гигантскому зеленому улью в царящей вокруг него тьме. Я видела красные и белые огни на дороге и огни на мостах, названий которых не знала.

Тишина угнетала меня. Тишина и безмолвие. И это не было безмолвие окружающего. Это было мое собственное безмолвие.

Мне было совершенно точно известно, что автомашины производят какой-то шум, и люди в них и люди за освещенными окнами зданий производят шум, и река шумит, но я ничего не слышала. Город пребывал у меня за окном, плоский, как плакат, правда поблескивающий и вообще глянцевитый, — но с таким же успехом его могло там и не быть вовсе: не больно-то много радости он мне принес.

Фарфорово-белый телефонный аппарат на ночном столике мог связать меня с миром, но он был безмолвен, как голова покойника. Я попыталась вспомнить, кому я успела дать свой номер, чтобы загадать, кто бы все-таки мог мне сейчас позвонить, но единственной, кого я вспомнила, была мать Бадди Уилларда, взявшая мой номер, чтобы передать его какому-то своему знакомому переводчику-синхронисту, работающему в ООН.

Я коротко и сухо рассмеялась.

Могу себе представить, как будет выглядеть переводчик-синхронист, с которым меня хочет познакомить миссис Уиллард, если главным ее желанием было выдать меня за своего сына

Бадди, проходящего сейчас курс лечения от туберкулеза в каком-то санатории в «Стране гор» — Адирондаке — в северо-восточной части штата. Мать Бадди даже ухитрилась найти для меня место официантки в этом санатории на лето, чтобы только Бадди не чувствовал себя таким одиноким. Ни она, ни сам Бадди так и не поняли, почему я предпочла вместо этого отправиться в Нью-Йорк. Зеркало над моим письменным столом было чуть потускневшим и, пожалуй, чересчур серебряным. Лицо, возникшее в нем, выглядело искривленным, как будто оно отражалось в металлическом оборудовании зубоврачебного кабинета. Я подумала было о том, чтобы забраться под простыни и попытаться заснуть, но это показалось мне настолько же отвратительным, как если бы я вложила грязное, испачканное жирными пальцами письмо в свежий, безукоризненно чистый конверт. Поэтому я решила принять горячую ванну.

Должно быть, есть на свете напасти, от которых не в силах исцелить и горячая ванна, но я таких почти не знаю. Как только меня начинает томить печаль, как только я чувствую себя умирающей, как только разнервничаюсь до такой степени, что не могу заснуть, как только в кого-нибудь влюблюсь или разлучусь с возлюбленным на неделю, как только дохожу до определенной точки отчаяния, я говорю себе: «А приму-ка я сейчас горячую ванну».

В ванне я предаюсь размышлениям. Вода должна быть предельно горячей — настолько горячей, что в нее страшно и больно поставить ногу. Затем, дюйм за дюймом, я постепенно погружаюсь в нее, пока вода не доходит до самого горла.

Я помню потолки в каждой ванной комнате, где мне доводилось принимать ванну. Я помню цвет и отделку потолков, помню их фактуру, помню трещины и темные пятна, помню, какой там имелся источник света. Я помню и сами ванны тоже: древние, стилизованные под античность сооружения на ножках грифона, и современные, сильно смахивающие на гроб конструкции, и роскошные ванны из красного мрамора, из которых открывается вид на дверь с орнаментом из речных лилий. И я помню форму и размеры всех кранов и всех тюбиков шампуня.

Нигде я не чувствую себя настолько собой, как в горячей ванне.

Я лежала в горячей ванне на семнадцатом этаже гостиницы только для женщин, высоко над суматохой и сумятицей Нью-Йорка, примерно час и в конце концов почувствовала себя очистившейся. Я не верю в крещение и в реки Иорданские или во что-нибудь другое в том же роде, но, сдается мне, в горячей ванне я ощущаю нечто схожее с тем, что испытывают верующие, погружаясь в освященную воду.

Я убеждала самое себя: «Дорин больше не существует, Ленни Шеперда больше не существует, Фрэнки больше не существует, Нью-Йорк больше не существует, их всех больше не существует, они растворяются, исчезают, не имеют никакого значения. Я их знать не знаю и никогда не знала, а сама я чрезвычайно чиста. Вся выпивка и все вонючие поцелуи, свидетелями которых я стала, и вся грязь, налипшая на мое тело по пути домой, превращаются сейчас в нечто чрезвычайно чистое».

И чем дольше я лежала в прозрачной горячей воде, тем чище себя считала, — и когда я вышла из ванны и закуталась в одно из белых мягких больших гостиничных полотенец, я казалась себе чистой и милой, как новорожденная.

* * *

Не знаю, как долго я спала, пока в дверь ко мне не постучали. Сперва я не придавала этому значения, потому что человек, стучавшийся в мою дверь, приговаривал: «Элли, Элли,пусти меня, Элли». А я ведь никакой Элли знать не знала. Затем раздался стук совершенно иного рода

— резкий и частый (а прежний был тяжелым и глухим) — и другой, куда более звонкий голос сказал: «Мисс Гринвуд, к вам тут друзья», и я сразу же поняла, что это Дорин.

Я вскочила на ноги и на мгновение чуть было не потеряла равновесие посреди темной комнаты. Я разозлилась на Дорин за то, что она меня разбудила. Мой единственный шанс забыть обо всем происшедшем заключался в том, чтобы хорошенько выспаться, а она ухитрилась отнять и его.

Я решила, что, если я сделаю вид, будто сплю и не слышу их, стук прервется, однако же этого не произошло.

— Элли, Элли, Элли, — бормотал первый голос, тогда как другой уже буквально шипел:

— Мисс Гринвуд, мисс Гринвуд, мисс Гринвуд.

Мне начало казаться, что у меня раздвоение личности.

Я открыла дверь и, моргая, уставилась в ярко освещенный коридор. Мне показалось, что стоит не день и не ночь, а какое-то сумеречное, третье время суток, внезапно втиснувшееся между ночью и днем, чтобы остаться в этом промежутке навеки.

Дорин стояла, держась за дверной косяк. Когда я вышла из комнаты, она рухнула ко мне в объятия. Мне было не разглядеть ее лица, потому что голова у нее падала на грудь и белокурые волосы, вплоть до темных корней, закрывали его, а сами корни казались гавайской травяной юбочкой.

Я поняла, что низкорослая и широкоплечая женщина с усиками, одетая в черную униформу, была ночной дежурной. Она гладила наши дневные платья и бальные наряды в каморке, расположенной на этом же этаже. Я не могла взять в толк, откуда она знает Дорин и почему вдруг надумала помочь ей будить меня, вместо того чтобы препроводить в ее собственный номер.

Увидев, что Дорин очутилась в моих объятиях и затихла, если не считать нескольких влажных всхлипов, дежурная удалилась по коридору в свою кабинку к древней швейной машинке «Зингер» и к белой гладильной доске.

Мне хотелось броситься следом и заявить ей, что я знать не знаю никакой Дорин, потому что эта дежурная выглядела строгой, работающей и высококонраственной, как типичная иммигрантка из Европы былых времен, и напоминала мне мою австрийскую бабушку.

— Пусти меня, пожалуйста, — лепетала Дорин. — Пусти меня, пожалуйста, пусти меня, пожалуйста.

Мне показалось, что если я перенесу Дорин через порог и уложу ее к себе на постель, то уже никогда не смогу от нее избавиться.

Тело ее в моих руках было теплым и мягким, как ворох подушек, — особенно там, где она прижималась ко мне всей своей тяжестью, — а ноги ее в дурацких туфлях на высоком каблуке нелепо болтались в воздухе. Она была слишком тяжела, чтобы протащить ее по всему длинному коридору.

Я решила сделать единственно разумное — опустить ее на ковер прямо здесь, у порога, а самой пройти к себе в номер, запереться и лечь в постель. Когда Дорин проснется, она будет не в состоянии вспомнить, что с нею произошло, и решит, что, не добудившись меня, сама вырубилась под дверью, — а тогда поднимется и преспокойно отправится к себе в номер.

Я начала было осторожно опускать Дорин на зеленый ковер, но она внезапно всхлипнула и дернулась в моих руках. Струйка бурой рвоты вырвалась у нее изо рта и растеклась лужицей у меня под ногами.

И сразу же вслед за этим Дорин стала еще тяжелее. Ее голова, качнувшись, упала в лужицу, пряди белокурых волос опустились туда же, как корни дерева на подмытом рекой берегу, и я поняла, что она уснула. Я отшатнулась от нее. Я сама практически спала.

Этой ночью я приняла относительно Дорин важное решение. Я решила, что буду продолжать водить с ней знакомство, буду наблюдать за ней и слушать то, что она мне говорит, но в глубине души буду знать, что не имею с ней ничего общего. В глубине души я буду хранить верность Бетси и ее невинным подружкам. Я ведь на самом деле похожа не на нее, а на Бетси.

Я тихо прошла к себе в номер и закрыла за собой дверь. Немного поколебавшись, решила все же не запирать ее. Я просто была не в состоянии заставить себя это сделать.

Когда я проснулась душным и пасмурным утром, мне захотелось сперва одеться, побрызгать в лицо холодной водой и слегка подкрасить губы — и только после этого я медленно открыла дверь. Кажется, я боялась увидеть Дорин по-прежнему лежащей в лужице рвоты — чудовищное, но неопровержимое доказательство извращенности моей собственной природы.

Но в коридоре никого не было. Ковер простирался из одного конца коридора в другой, чистый и как бы нетронутый, если не считать еле различимого темного пятна возле моей двери, как будто кто-то ненароком расплескал здесь стакан воды, но потом старательно затер следы инцидента.

На банкетном столе в редакции «Женского журнала» были расставлены разрезанные пополам зелено-желтые плоды авокадо, фаршированные крабами под майонезом, блюда с ростбифом и холодной курятиной и — на не слишком большом расстоянии друг от друга — объемистые креманки, полные черной икры. В этот день я не успела позавтракать в гостиничном кафетерии, ограничившись только чашкой черного кофе — настолько горького, что у меня защипало в носу, — и сейчас ощущала чудовищный голод.

До того как я приехала в Нью-Йорк, мне ни разу не довелось побывать в приличном ресторане. Если, понятно, не считать заведений вроде «Говарда Джонсона», в которых людишки типа Бадди Уилларда угощали меня исключительно жареной по-французски картошкой, чизбургерами и ванильным кремом. Не знаю, почему оно так, но хорошо поесть я люблю едва ли не больше всего на свете. И сколько ни съем, никогда не толстею. За одним-единственным исключением я сохраняю свой вес на протяжении уже десяти лет.

Мои любимые блюда хорошо заправлены маслом, сыром и жирной подливкой. В Нью-Йорке мы столько раз завтракали и обедали за казенный счет с сотрудниками редакции и со всякими заезжими знаменитостями, что у меня появилась привычка окидывать хищным взглядом твердые обеденные карточки с вписанным в них от руки сегодняшним меню, в котором разве что какой-нибудь гарнир из бобов стоил пятьдесят или шестьдесят центов, и выбирать самые шикарные, самые дорогие яства — и заказывать их сразу по нескольку.

Чувства вины я при этом не испытывала, потому что никому не приходилось платить за это из собственного кармана. Я следила за тем, чтобы управляться со своей трапезой достаточно проворно, иначе мне пришлось бы заставлять томиться моих спутниц, заказывавших себе, как правило, только зеленый салат и грейпфрутовый сок. Вели они себя так исключительно затем, чтобы похудеть. Почти все, с кем мне довелось встретиться в Нью-Йорке, стремились похудеть.

— Хочу от всей души поприветствовать самых хорошеньких и самых умных барышень, которых нам когда-либо доводилось принимать в нашей редакции, — произнес жирный и лысый распорядитель в свой ручной микрофон. — Этот небольшой банкет является всего лишь скромным проявлением гостеприимства, с которым наш «Женский журнал» и его прославленная «Экспериментальная кухня» встречают очаровательных посетительниц.

Пристойные, подобающие истинным барышням аплодисменты, — и мы усаживаемся за гигантский стол, застеленный крахмальной скатертью.

Здесь присутствовали одиннадцать девиц из нашей дюжины, большинство наших попечителей из редакции пригласившего нас журнала, а также в полном составе персонал «Экспериментальной кухни» «Женского журнала» в гигиенически-белых халатах, прелестных чепчиках и в безукоризненной косметике предписанного здесь телесного цвета.

Нас было только одиннадцать, потому что Дорин отсутствовала. По каким-то соображениям ей было уготовано место рядом со мной, и ее стул оставался пуст. Я прибрала для нее карточку у прибора — карманное зеркальце с надписью «Дорин», выведенной вязью сверху, и обрамленное орнаментом из маргариток, посередине которого на серебряной глади должно было всплывать лицо Дорин.

Дорин проводила время с Ленни Шепердом. Теперь она большую часть времени проводила с Ленни Шепердом.

«Женский журнал» — издание огромного формата с цветными вкладками, посвященными блюдам национальных и местных кухонь, причем тематика эта меняется ежемесячно. В час, предшествующий банкету, нас провели по бесчисленным кухонным помещениям и показали, как

трудно, например, фотографировать яблочный пирог с мороженым, потому что при ярком освещении, необходимом для съемки, мороженое начинает таять и его шарики надлежит незаметно поддерживать сзади зубочистками и менять каждый раз, когда они становятся чересчур рыхлыми. При виде лакомств, от которых ломились все эти кухоньки, у меня закружилась голова. И дело не в том, что дома мы скверно питались. Моя бабушка неизменно приобретала что подешевле, и у нее вдобавок была пренеприятная привычка произносить, когда ты подносишь ложку ко рту, что-нибудь вроде: «Надеюсь, тебе это придется по вкусу. Оно обошлось мне в сорок один цент на фунт», вследствие чего начинало казаться, что пожираешь медяки, а вовсе не воскресный бифштекс.

Пока мы стояли за спинками наших стульев, внимая приветствию, я чуть нагнула голову и тайком оглядела стол, чтобы локализовать на нем расположение креманок с икрой. Стратегическая позиция одной из них была между мной и местом отсутствующей Дорин.

Я сообразила, что девице, которая сядет напротив меня, будет не дотянуться до этой креманки из-за огромного блюда марципанов, стоящего посередине, а что касается Бетси, место которой было справа от меня, то она чересчур воспитанна, чтобы потребовать от меня поделиться икрой, особенно если я прикрою креманку локтем и придвину поближе к своей тарелке. И кроме того, справа от Бетси, между ней и еще одной девицей, стояла точно такая же креманка, и Бетси вполне могла полакомиться из нее.

У нас с моим дедушкой была одна постоянная шутка. Он работал метрдотелем в загородном клубе в окрестностях нашего города, и каждую неделю, по воскресеньям, моя бабушка заезжала за ним, чтобы забрать его на понедельник. По понедельникам у него был выходной. Она брала с собой поочередно то моего брата, то меня, а дедушка всегда сервировал для нее и одного из внуков самый настоящий воскресный обед, как будто мы были ресторанными завсегдатаями. Для меня же он всегда припасал особенно лакомые кусочки, и в девять лет я уже стала страстной любительницей холодной телятины, икры и анчоусов.

Шутка же заключалась в том, что мой дедушка обещал в день моей свадьбы привезти мне столько икры, сколько я смогу съесть. И это и впрямь было шуткой, потому что я собиралась никогда не выходить замуж, но если бы и передумала, дедушке неоткуда было бы взять столько икры, сколько я могла бы съесть, разве что если бы он ограбил свой клуб и привез ее целый чемодан.

Под шумок, пока вокруг позвякивали бокалы с безалкогольными напитками, серебряные столовые приборы и фарфор, я покрыла всю свою тарелку ломтями холодной курятины. Затем намазала курятину черной икрой — причем таким толстым слоем, как будто мазала на хлеб ореховое масло. Затем принялась брать ломти курятины, один за другим, сворачивать их в трубочку и поглощать. При этом следила за тем, чтобы икра не выдавливалась наружу.

После долгих сомнений и колебаний насчет того, какой вилкой что брать, я поняла, что если ведешь себя за столом неверно, но с достаточной уверенностью и, может быть, даже с вызовом, как будто ты совершенно убеждена в том, что именно так и следует поступать, то это сойдет тебе с рук и никто не подумает, будто у тебя дурные манеры или ты плохо воспитана. Все решат, что ты оригинальна, экстравагантна и остроумна.

Я поняла это в тот день, когда Джей Си пригласила меня на ленч со знаменитым поэтом. Поэт явился одетым в чудовищно мятый и засаленный твидовый пиджак коричневого цвета, в серые брюки и красно-голубой джемпер, а дело происходило в весьма фешенебельном ресторане с фонтанами и канделябрами, где все остальные посетители были в строгих, темных костюмах и безукоризненно белых сорочках.

Поэт ел свой зеленый салат руками, выуживая с тарелки один лист за другим, и одновременно рассказывал мне об антагонизме между природой и искусством. Я не могла

отвести глаз от бледных костистых пальцев, которые перепархивали из поэтовой тарелки к поэтову рту и обратно, каждый раз на переднем пути обремененные зеленой ношей. И никто не хихикал по его адресу и не делал ему никаких замечаний. Казалось, поедание зеленого салата руками — это самое естественное и единственно разумное занятие.

Никого из наших начальниц, равно как и никого из сотрудниц «Женского журнала», не оказалось поблизости от меня, а Бетси была мила и приветлива, она, наверно, и икру-то не любила, — и постепенно я начала проникаться все большей и большей самоуверенностью. Закончив первую порцию холодной курятины с икрой, я изготовила себе другую, точно такую же. А затем потянулась за авокадо, фаршированным крабами.

Авокадо — мой любимый фрукт. Каждое воскресенье дедушка привозил мне одно авокадо, припрятав его в чемодане под шестью грязными сорочками и воскресными комиксами. Он научил меня, как надо есть авокадо: выдавить густой сок и мякоть в глубокую тарелку, а затем, перемешав их как следует, наполнить пустую оболочку плода полученной начинкой. Сейчас мне ужасно не доставало этой начинки. Крабы не идут с ней ни в какое сравнение.

— А как демонстрация мехов? — спросила я у Бетси, когда ее возможные притязания на икру оказались бы уже явно запоздалыми. Я подгрребла несколько последних соленых икринок с тарелки столовой ложкой и облизала ее досуха.

— Все было просто чудесно, — заулыбалась Бетси. — Нам показали, как можно смастерить пелерину на все случаи жизни из норковых хвостов и золоченой цепочки, причем точно такую же цепочку можно приобрести у Вулворта за доллар девяносто восемь центов. И Хильда сразу же после демонстрации пошла по магазинам мехов и накупила с большой скидкой кучу норковых хвостов, а потом зашла за цепочкой к Вулворту и прямо в автобусе изготовила себе пелерину.

Я уставилась на Хильду, сидящую сразу же за Бетси. И действительно, на ней была роскошно выглядывшая накидка из каких-то пушистых хвостов, скрепленная золоченой цепочкой.

Хильда вечно приводила меня в некоторое недоумение. В ней было шесть футов росту, на лице ее бросались в глаза огромные влажно-зеленые очи, толстые красные губы и какая-то чисто славянская отрешенность. Хильда делала шляпки. Ее сразу же сплавил в рубрику мод, отделив тем самым от девиц с более ярко выраженными литературными интересами, вроде Дорин, Бетси или меня. Нам-то всем поручили писать статьи, хотя большинство и писало их только на ерундовские темы, типа ухода за собой или здоровья. Я даже не знаю, умела ли Хильда читать, но шляпки она делала просто потрясающе. Здесь, в Нью-Йорке, она посещала специальную мастерскую, где совершенствовалась в своем искусстве, и каждый день, отправляясь туда, она надевала новую шляпку, изготовленную собственноручно из соломки, мехов, ленточек или чего-нибудь еще, но неизменно изящную.

— Потрясающе, — пробормотала я, — просто потрясающе.

Мне не хватало Дорин. Она бы непременно отпустила какое-нибудь язвительное, бьющее не в бровь, а в глаз замечание насчет Хильды и ее пелеринки — и это меня взбодрило бы.

У меня было очень тяжело на душе. Как раз нынешним утром не кто иной, как Джей Си, сумела вывести меня на чистую воду, и теперь я начинала осознавать, что все те грустные подозрения, которые я питала относительно собственной персоны, понемногу оправдываются, и я даже не в состоянии скрыть этого от окружающих. После непрерывной девятнадцатилетней гонки за всякого рода наградами, призами, премиями и стипендиями я начала сдавать, сбиваться с темпа, медленно, но неуклонно сходить с дистанции.

— А почему ты не поехала туда вместе с нами? — спросила Бетси.

У меня возникло впечатление, что она начинает повторяться, потому что тот же вопрос она

вроде бы задавала мне минуту назад, но я пропустила его мимо ушей.

— Ты ходила куда-нибудь с Дорин?

— Нет. Я хотела поехать на демонстрацию мехов, но позвонила Джей Си и велела мне прийти в офис.

Насчет моего желания поехать на демонстрацию мехов — это было неправдой, но я пыталась убедить самое себя, что дело обстояло именно так и только поэтому меня раздосадовал звонок Джей Си.

Я сообщила Бетси о том, как все утро пролежала в постели, предаваясь мыслям о демонстрации мехов. Правда, я не рассказала ей, что ко мне в номер зашла Дорин и заявила:

— Какого черта ты намыливаешься на этот дурацкий показ? Мы с Ленни собрались поехать на Кони-Айленд, так почему бы тебе не присоединиться к нам? Ленни пригласит для тебя какого-нибудь славного парня. А день пропадет так на так с этим банкетом и с кинопремьерой после обеда, и нас с тобой никто не хватится.

Я чуть было не поддалась искушению. Демонстрация мехов — это, конечно же, сущий идиотизм. Меха меня никогда не интересовали. Но в конце концов я решила провалиться в постели до тех пор, пока мне это не надоест, а затем отправиться в Сентрал-парк и полежать там на травке. Там самая густая трава, какую можно найти в здешней каменной пустыне.

Я сказала Дорин, что не поеду ни на демонстрацию мехов, ни на банкет, ни на премьеру, но на Кони-Айленд с ними я тоже не поеду — я просто поваляюсь в постели. Но после ухода Дорин я задумалась над тем, почему не могу больше следовать предложенному нам распорядку, и почувствовала себя от таких раздумий больной и усталой. А затем я задумалась о том, почему в таком случае не могу делать всего того, что нам делать не велено, как поступает та же Дорин, и почувствовала себя еще более больной и усталой, чем прежде.

Не знаю, который был час, но я слышала, как девицы разгуливают и переговариваются в холле, собираясь на демонстрацию мехов, а потом все стихло, и я лежала на спине в постели и глядела вверх, на белый потолок, и тишина казалась мне все более и более оглушительной, пока я не почувствовала, что от нее у меня вот-вот лопнут барабанные перепонки. И в эту минуту зазвонил телефон.

Долгое время я смотрела на него, не поднимая трубку. Она чуть подпрыгивала в своей цвета слоновой кости колыбельке, и поэтому я понимала, что кто-то и впрямь мне звонит. Я решила, что дала кому-нибудь свой номер на вечеринке или на танцуйке, а сама забыла об этом. Я схватила трубку и произнесла радостным, исполненным жажды приключений голосом:

— Алло!

— Это Джей Си, — грубо прервала поток моих мечтаний начальница. — Вы не собираетесь зайти сегодня в офис?

Я рухнула на постель. Я не могла понять, с какой стати Джей Си решила, что я могла планировать на сегодня посещение офиса. У нас были напечатанные на ротапринте расписаньца, в которых отмечены все предлагаемые на тот или иной конкретный день занятия, причем многие из них связаны с выездом в город, а вовсе не с посещением офиса. Разумеется, это расписание далеко не всегда соблюдалось неукоснительно.

В разговоре возникла определенная пауза. Затем я проблеяла:

— Я собиралась на демонстрацию мехов.

Разумеется, — ни на какую демонстрацию я не собиралась, но надо же было что-то сказать.

Я сказала ей, что собираюсь на демонстрацию мехов, а она велела мне прийти в офис. Ей надо было со мной поговорить, и еще там была кое-какая работа.

— Ай-ай-ай, — с сочувствием воскликнула Бетси. Она, должно быть, заметила, как по щекам у меня скатились две слезинки — скатились и упали в вазочку мороженого с коньяком и

с меренгами, — потому что она передвинула ко мне по столу свой нетронутый десерт, и я, рассеянно управившись с собственным, принялась за ее порцию. Мне было чуть стыдно притворяться, но в конце концов мои слезы были в какой-то мере искренними: Джей Си наговорила мне сегодня ужасных вещей.

* * *

Когда, часов так в десять, я неуверенно вошла в офис, Джей Си поднялась со своего места, чтобы закрыть за мной дверь. Я уселась в кресло-вертушку к столу, на котором стояла моя пишущая машинка, а она — за свой письменный стол, причем мы очутились лицом друг к другу. Окно у нее за спиной было сплошь заставлено цветочными горшками, и казалось, что Джей Си сидит в тропическом лесу.

— А что, Эстер, тебя не интересует твоя работа?

— Да нет, что вы, интересует! Очень интересует!

Слова выдавливались из меня тягучей массой, как будто я проглотила медузу, что, правда, не прибавляло им убедительности. Однако я сохраняла контроль над собой.

Всю жизнь я убеждала самое себя в том, что больше всего на свете мне хочется читать, писать и работать как одержимой, и это вроде бы соответствовало действительности: я все всегда делала хорошо и училась только на пятерки с плюсом, и к тому времени, когда я попала в колледж, ничто уже не могло и не должно было остановить меня.

Я была корреспондентом городской газеты по колледжу, редактором школьного литературного журнала и заведовала Доской почета — а это весьма престижное поручение означало, что я слежу за академической успеваемостью остальных, — и известная поэтесса, преподававшая у нас литературное мастерство, предрекала мне успех в самых крупных университетах Восточного побережья и гарантировала стипендию на все время обучения там, да и сейчас я проходила практику у самого лучшего редактора модного интеллектуального журнала, — и при всем при том я еле тянула воз и упиралась, как усталая лошадь.

— Меня все чрезвычайно интересует. — Слова падали на столешницу перед Джей Си с плоским и пустым звуком, как какие-нибудь деревянные жетоны.

— Рада слышать это. — В тоне Джей Си, несомненно, сквозила язвительность. — За месяц практики в журнале можно научиться массе полезных вещей. Конечно, если работаешь засучив рукава. Молодая особа, стажировавшаяся здесь до тебя, не тратила время ни на какие показы мод и демонстрации мехов. И прямо отсюда была принята на работу в «Тайм».

— О Господи, — сказала я все тем же похоронным голосом. — Вот так прыть!

— Разумеется, тебе еще целый год учиться в колледже, — продолжила Джей Си, чуть смягчившись, — А чем ты собираешься заняться после того, как его закончишь?

Мне всегда казалось, будто я хочу по окончании колледжа получить стипендию на обучение в порядочном университете или же грант для поездки на учебу в Европу, а впоследствии я собиралась стать профессором и выпустить несколько сборников собственных стихов или же выпустить несколько сборников собственных стихов и пойти на работу куда-нибудь в редакцию. И как правило, предавая эти планы огласке, я за словом в карман не лезла.

— Толком не знаю.

Я услышала, как я это произнесла. И сразу же ощутила глубочайший испуг, потому что, стоило мне это произнести, я поняла, что это сушая правда.

Эти слова прозвучали сущей правдой, и я осознала это примерно так же, как осознаешь, что некая невзрачная и невразумительная личность, долгие годы метавшаяся вокруг твоего дома и

вдруг переступившая его порог и объявившая, будто она доводится тебе родным отцом, — примерно как осознаешь, что этот человек похож на тебя как две капли воды и, следовательно, действительно приходится тебе родным отцом, а тот, кого ты почитала родным отцом до сих пор, на самом деле не отец твой, а стыд и позор.

— Толком не знаю.

— С такими настроениями ты никогда ничего не добьешься. — Джей Си сделала паузу. — Какими языками ты владеешь?

— О, я немного читаю по-французски, и мне всегда хотелось изучить немецкий.

Уже лет пять я твердила всем, что хотела бы изучить немецкий.

Моя мать в детстве, проведенном уже в Америке, говорила по-немецки, — и ее за это даже побили камнями одноклассники во время первой мировой войны. Мой немецкоговорящий отец, умерший, когда мне было девять, был родом из некоей маниакально-депрессивной деревушки в черном сердце Пруссии. Мой младший брат в настоящее время участвовал в экспериментальной программе «Международное общежитие» в Западном Берлине и говорил по-немецки, как немец. Однако же я не объявляла людям о том, что стоит мне взять в руки немецкий словарь или какую-нибудь немецкую книгу — и от одного вида этих угрюмых, черных, словно бы изготовленных из колючей проволоки букв душа моя захлопывается, как крышка сундука.

— Я никогда не сомневалась в том, что мне хочется заниматься издательской деятельностью. — Произнося это, я попыталась было нащупать нить, ухватившись за которую смогла бы вновь забраться на борт испытанного в морях корабля. — Мне хотелось бы начать со вспомогательной работы в каком-нибудь издательстве.

— Для этого надо уметь читать по-французски и по-немецки, — безжалостно произнесла Джей Си, — а лучше и еще на нескольких языках: по-испански, по-итальянски, а оптимально — по-русски. Сотни девиц наезжают в Нью-Йорк в начале каждого лета, и все они намереваются работать в издательствах. Для того чтобы выиграть этот конкурс, одной взбалмошности маловато. Необходимо знать языки.

У меня не хватало духу сообщить Джей Си о том, что в моем расписании на последний год в колледже не осталось буквально ни одной свободной минуты, которую я могла бы посвятить изучению языков. Я должна была принять участие в одной из тех программ для особо одаренных, в ходе которой вас учат думать независимо, и, кроме того, мне предстоял спецкурс по Толстому и Достоевскому и семинар по стихосложению, а все остальное время надо было посвятить дипломной работе по творчеству Джеймса Джойса. Я еще не сформулировала окончательно ее название, потому что не успела прочесть «Поминки по Финнегану», но моя преподавательница пришла в восхищение от моих черновых набросков и обещала мне кое-что подсказать применительно к теме «Двойничество у Джойса».

— Я попробую что-нибудь предпринять, — сообщила я Джой Си. — Возможно, мне удастся еще попасть на какие-нибудь ускоренные курсы основ немецкого.

И в этот момент я подумала, что так и поступлю. Я научилась уговаривать свою кураторшу позволять мне несколько необычные вещи. Собственное отношение ко мне она расценивала как своего рода педагогический эксперимент.

В колледже мне надо было пройти обязательные курсы по физике и по химии. До этого я прошла курс ботаники и добилась в нем превосходных результатов. За весь год я не дала неправильного ответа ни на один тест и какое-то время даже носилась с идеей стать ботаником и изучать буш в Африке или джунгли в Латинской Америке, потому что получить большой грант на занятия такого рода и в таких сумасшедших краях куда проще, чем добиться стипендии на изучение искусства в Италии или английской литературы в Англии: здесь не так велико число конкурентов.

Ботаника подходила, потому что мне нравилось срезать листья и помещать их под микроскоп, нравилось рисовать диаграммы и причудливые, в форме сердца, контуры, которые принимает лист папоротника в процессе воспроизведения, — все это представлялось мне настоящим делом.

Но в тот же день, как я попала в кабинет физики, я поняла, что здесь таится моя погибель.

Смуглый коротышка с пришепетывающим голосом, по имени мистер Манци, одетый в темно-синий костюм, стоял у доски, держа в руке маленький деревянный шар. Он поместил этот шар над каким-то желобом и позволил ему скатиться вниз. Затем принялся что-то толковать об ускорении и времени — и вот он уже исписывал черную грифельную доску какими-то буквами, цифрами и знаками, а я чуть было не потеряла сознание.

Я взяла учебник по физике в спальню. Это была огромная и толстенная книга — четыреста страниц без единого рисунка или фотографии, только диаграммы и формулы, отпечатанная на ротапринтере и вручную переплетенная. Учебник был написан самим мистером Манци и предназначался для того, чтобы научить физике студенток колледжа, — а если это удастся, мистер Манци попытается опубликовать свою работу для всех колледжей страны.

Что ж, я вызубрила эти формулы, я принялась посещать кабинет и наблюдать за тем, как шары скатываются по желобам и звенят колокольчики, и в конце семестра большинство наших девиц провалилось на экзамене, а я получила пять с плюсом. И услышала, как мистер Манци в ответ на жалобы обступивших его девиц сказал:

— Нет, этот курс вовсе не чересчур труден, потому что одной из вас удалось получить пять с плюсом.

Да кто ж это такая, да покажите же нам ее, потребовали девицы, но он покачал головой, и не сказал им ни слова, и только заговорщически подмигнул мне.

Это и навело меня на мысль о том, как избежать в следующем семестре аналогичных мучений по химии. Конечно, я получила по физике пять с плюсом, но мною владел самый настоящий ужас. От физики меня тошнило все время, пока я занималась ею. Я просто не могла вынести того, что весь мир съезжился, превращаясь в значки и числа. Вместо контуров живых листьев и увеличенных диаграмм, изображающих поры, сквозь которые они дышат, вместо таких чудесных слов, как хлорофилл и ксантофилл, на доске появлялись таинственные, безобразные и ядовитые, как скорпион, формулы, начертанные специальным красным мелком мистера Манци.

Я понимала, что химия окажется еще хуже, потому что уже видела огромную таблицу на девяносто с чем-то элементов, висящую в химической лаборатории, — и там такие совершенно чудесные слова, как золото, серебро, кобальт и алюминий, были превращены в уродливые аббревиатуры с каким-то числом по десятичной системе после каждой. Если бы мне пришлось напрягать мозги, изучая и эту чушь, я бы уже совершенно точно спятила. И провалилась бы на экзамене. Освоение физики в первом семестре далось мне только за счет чудовищного напряжения воли.

И вот я пошла к кураторше, заготовив коварный план.

Мой план заключался в том, чтобы потребовать себе дополнительное время на прохождение спецкурса по творчеству Шекспира: я ведь как-никак специализировалась по английской литературе. А поскольку моей кураторше и мне самой было совершенно ясно, что я получу пять с плюсом и по химии, то чего ради вообще экзаменоваться по этому предмету, почему бы мне не присутствовать на занятиях просто так, почему бы не изучать предмет без оглядки на текущие оценки и предстоящие экзамены? Порядочные люди всегда верят друг другу на слово, и содержание значит куда больше, чем форма, а в оценках ведь все равно есть нечто идиотское, не правда ли, особенно когда знаешь, что наверняка получишь пять с плюсом. Мой план был дополнительно подкреплён тем обстоятельством, что наш курс был последним, а на

младших уже отменили обязательные предметы на втором году обучения; нам, выходит, предстояло страдать от прежних, уже отмененных правил.

Мистер Манци принял мой план без малейших возражений. Полагаю, он был просто польщен тем, что его преподавание захватило меня настолько, что я решила посещать лекции не по такой материалистической причине, как желание заработать очередную пятерку, а исключительно из-за красоты самого предмета. Чрезвычайно удачным с моей стороны было решение присутствовать на занятиях по химии даже после того, как уже начался спецкурс по Шекспиру. Это был настолько чрезмерный жест, что означать он мог только одно: я не в силах отказаться от химии.

Разумеется, у меня со всем этим планом ничего не получилось бы, если бы сначала я не заработала пять с плюсом по физике. И если бы моя кураторша поняла, как испугана и расстроена я была и как я — довольно серьезно — носилась сперва с идеей заручиться какой-нибудь медицинской справкой о том, что я не могу заниматься химией по состоянию здоровья, что от формул у меня начинает кружиться голова, и тому подобный вздор, — поняв это, она безжалостно отмела бы все мои жалобы и послала бы меня в химический кабинет.

Вышло так, что мой план, оформленный в виде заявления, удостоился обсуждения на педсовете, и кураторша сообщила мне потом, что многих преподавателей он растрогал. Они расценили мое заявление как свидетельство интеллектуальной зрелости. Вспоминая остаток этого учебного года, я с трудом могу удержаться от смеха. Пять раз в неделю я ходила на химию, я не пропустила ни одного занятия. Мистер Манци стоял где-то внизу, на самом дне (аудитория имела форму амфитеатра); испуская какие-то синие огоньки, алые вспышки и клубы желтого дыма, он переливал содержимое из одной пробирки в другую, а голос его я не допускала до своего слуха, делая вид, что это жужжание москита где-нибудь вдалеке.

Я сидела, испытывая даже какое-то удовольствие от всех этих разноцветных вспышек, и списывала одну страницу за другой вилланелами и сонетами.

Мистер Манци время от времени поглядывал на меня и, убедившись, что я пишу, одаривал меня скромной, но радостной улыбкой. Должно быть, он думал, будто я переписываю с доски все эти формулы — причем не ради сдачи экзамена, как остальные девицы, а потому что его преподавание захватывало меня до глубины души.

Не знаю, почему именно в офисе у Джей Си я вспомнила о том, как успешно мне удалось увильнуть от химии.

Все время, пока она учила меня жить, мне казалось, будто у нее за спиной вырастает коротенькая фигура мистера Манци, подобно предмету, который фокусник до поры до времени прятал в рукаве или шляпе, и мистер Манци держит в руке деревянный шар и колбу, из которой он в день перед пасхальными каникулами испустил огромное облако желтого дыма, пахнувшее тухлыми яйцами и заставившее всех девиц и самого мистера Манци рассмеяться.

Мне было жаль мистера Манци. Мне хотелось сейчас подползти к нему на четвереньках и попросить прощения за то, что я оказалась такой лгуньей.

Джей Си подтолкнула ко мне по столу стопку машинописных новелл и заговорила со мной более дружелюбно. Остаток утра я потратила на чтение этих новелл и на сочинение собственных отзывов, которые печатала на розовых бланках издательства и переправляла в редакцию, в которой стажировалась Бетси. Бетси предстояло читать эти рукописи на следующий день. Джей Си время от времени отвлекала меня от дела, чтобы сообщить что-нибудь поучительное или рассказать кое-что забавное.

В этот день Джей Си собиралась пообедать с двумя известными писателями — с мужчиной и с женщиной. Мужчина только что продал шесть новелл в «Нью-Йоркер» и еще шесть — самой Джей Си. Это изумило меня: я ведь и представить себе не могла, что журналы способны приобретать рассказы целыми полдюжинами, и мысль о том, какую сумму отвалят, должно быть, этому писателю за целую кучу новелл, повергала меня в невольный трепет. Джей Си сказала, что на этом ленче ей придется держать ухо остро, потому что дама тоже сочиняет рассказы, но ей никогда не удавалось пристроить их в «Нью-Йоркер», а сама Джей Си взяла у нее лишь один за все пять лет знакомства. Ей предстояло ухитриться достаточно польстить более знаменитому писателю и в то же время не обидеть менее знаменитую писательницу.

Когда херувимчики на настенных французских часах в офисе у Джей Си замахали крылышками и поднесли к губам свои золоченые трубы, а затем и протрубили в них двенадцать раз подряд, Джей Си сказала мне, что на сегодня я поработала достаточно и соответственно могу отправляться в «Женский журнал» и на последующий банкет, а также и на кинопремьеру. Но завтра с утра пораньше она будет ждать меня в офисе.

И тут она накинула почти мужского покроя пиджак поверх лиловой блузки, надела на голову шляпку, украшенную искусственными лилиями, и приколола ее к волосам булавкой, наскоро напудрила нос и надела очки с чрезвычайно толстыми стеклами. Она выглядела страшилищем, но весьма интеллектуальным страшилищем. Покидая офис, она потрепала меня по плечу затянутой в лиловую перчатку рукой:

— Не позволяй этому порочному городу сбить себя с толку.

Несколько минут я спокойно просидела в своем кресле-вертушке, предаваясь размышлениям о Джей Си. Я представляла себе, каково это — быть вот такой Джей Си, известным редактором, хозяйкой офиса, полного каучуковых деревьев в цветочных горшках и африканских фиалок, которые ежедневно надлежало бы поливать моей секретарше. И я подумала, что неплохо бы иметь такую мать, как Джей Си. Тогда бы я знала, что мне делать.

От моей собственной матери было мало толку. С тех пор как умер отец, она содержала нас, зарабатывая преподаванием машинописи и стенографии, и втайне ненавидела это, и втайне ненавидела отца за то, что он умер и не оставил нам никакой страховки, потому что не верил страховым агентам. Она вечно приставала ко мне, чтобы я после колледжа овладела и

стенографией и имела бы таким образом некое ремесло наряду с дипломом об окончании колледжа. «Даже апостолы не гнушались быть плотниками, — приговаривала она. — Им надо было, в точности как нам, зарабатывать себе на хлеб насущный».

* * *

Я окунула пальцы в чашку с теплой водой, которую официантка из «Женского журнала» поставила передо мной на стол, предварительно убрав две пустые вазочки из-под мороженого. Затем тщательно вытерла каждый палец крахмальной салфеткой, остававшейся до сих пор не тронутой. Затем аккуратно сложила салфетку, вставила ее углом себе в рот и сжала губы. Когда я вынула салфетку изо рта и расправила ее, на ней отпечатался алый рисунок, напоминающий по форме человеческое сердце.

Я подумала о том, какую долгую дорогу мне пришлось пройти.

В первый раз в жизни чашу для полоскания пальцев я увидела в доме у своей благодетельницы. В нашем колледже существует обычай, сообщила мне маленькая веснушчатая дамочка из канцелярии, отправлять человеку, стипендию чьего имени вы получаете, благодарственное письмо. Если он, конечно, еще жив.

Я получала стипендию Филомены Гвинеа, преуспевающей писательницы, учившейся в нашем колледже в начале века и ухитрившейся превратить свой первый роман в немую кинокартину с Бетт Дэвис в главной роли, а также в радиосериал, передаваемый до сих пор. И выяснилось, что она еще жива и у нее большой дом, расположенный неподалеку от загородного клуба, в котором работал мой дед.

И вот я написала Филомене Гвинеа пространное письмо. Я написала его черными как уголь чернилами на серой фирменной бумаге с эмблемой нашего колледжа, нанесенной на каждый лист в красном цвете. Я написала о том, что напоминают мне осенние листья, когда я еду на велосипеде по холму, и о том, как прекрасно жить в студенческом кампусе, вместо того чтобы оставаться дома и ездить в городской колледж автобусом, и о том, что передо мной теперь открывается кладезь премудростей и знаний, и о том, что, возможно, я сумею когда-нибудь сочинить прекрасные книги, как это удастся ей.

Я прочла одну из книг миссис Гвинеа, взяв ее в городской библиотеке, — в нашей они почему-то отсутствовали, — и она буквально с первой страницы до последней была переполнена искрометными и животрепещущими вопросами и проблемами типа того, что «Удастся ли Эвелин осознать, что Глэдис с Роджером что-то в прошлом связывало?» или «Захочет ли Дональд жениться на ней, если он узнает о малютке Элси, спрятанной под надзором у миссис Рольмоп на уединенной ферме в глуши?». А также выражения вроде «Гектор предавался лихорадочным размышлениям» или «Гризельда тосковала по своей холодной, залитой лунным светом подушке». Подобные книги принесли Филомене Гвинеа, которая позднее сообщила мне, что слыла в колледже полной идиоткой, многие миллионы долларов.

Миссис Гвинеа ответила на мое письмо и пригласила меня к себе на ленч. Там-то я и увидела впервые чашу для полоскания пальцев.

В воде плавали вишневые лепестки, и я решила, что это, должно быть, какой-нибудь изысканный японский напиток, подаваемый на десерт, и осушила чашу, проглотив при этом и лепестки. Миссис Гвинеа никогда ни словом не обмолвилась об этом инциденте, и только много позже, когда я рассказывала одной из наших девиц о том, как прошел ленч, она объяснила мне, что именно я натворила.

Когда после банкета в залитых люминесцентным светом интерьерах «Женского журнала» мы вышли на улицу, она оказалась серой и затканной пеленой дождя. Дождь был не того бодрящего свойства, что отмывает тебя дочиста. Скорей, по моим представлениям, он походил на тот, что льет где-нибудь в Бразилии. Перпендикулярно к земле с неба падали капли размером с кофейную чашку и, разбиваясь о раскаленный асфальт, шипели и поднимали облака пара.

Моя тайная мечта провести вторую половину дня в Сентрал-парке погибла под лопастями яйцесбивалки, которую представляли собой стеклянные вращающиеся двери редакции. Меня вынесло на теплый дождь, буквально втащило в темную и надежную пещеру автомашины, в которой я очутилась в компании с Бетси, Хильдой и Эмили Энн Оффенбах, сущей крошкой на вид, с пучком рыжих волос, а также с мужем и тремя детьми в Тинеке, штат Нью-Джерси.

Фильм был крайне слаб. В нем играла какая-то красивая блондинка, сильно смахивающая на Джун Элисон, но все-таки не сама Джун, и весьма сексапильная брюнетка, похожая на Элизабет Тэйлор, но опять-таки не Элизабет Тэйлор, а также двое здоровенных широкоплечих парней с именами, звучащими как собачьи клички, — Рик и Джиль.

Фильм был на спортивную тему и к тому же цветной.

Я ненавижу цветные фильмы. В цветном фильме каждый из персонажей чувствует себя обязанным менять один умопомрачительный туалет на другой буквально в каждой сцене и торчит, как лошадь в цветастой попоне, то под сенью чрезвычайно зеленых деревьев, то на фоне чрезвычайно пшеничной пшеницы, то на берегу иссиня-синего моря, волны которого разбегаются во все стороны на многие мили.

Большая часть действия в этой картине разворачивалась на трибуне стадиона, где обе девицы улыбались и всплескивали руками, щеголяя в хорошо подобранных платьях и держа букеты хризантем, величиной с капустный кочан каждая, а также в танцевальном зале, где девицы скользили по паркету вместе со своими ухажерами, облаченные в платья, бессовестно позаимствованные из «Унесенных ветром», а время от времени удалялись в дамскую комнату, чтобы, оставшись с глазу на глаз, обменяться взаимными оскорблениями.

В конце концов я поняла, что блондинка выйдет замуж за симпатичного футболиста, а брюнетка останется на бобах, потому что парень по имени Джиль стремился обзавестись не женой, а любовницей и к настоящему времени уже собирал чемоданы, готовясь в полном одиночестве удалиться в Европу.

Примерно в этот момент я почувствовала себя нехорошо. Я огляделась по сторонам и увидела ряды маленьких девичьих головок с одинаковым серебряным свечением спереди и одинаковой черной тенью сзади — и они внезапно показались мне не чем иным, как какими-то дурацкими черепами.

Я страшно боялась, что меня вот-вот вырвет. Я не понимала, почему это у меня так разболелся живот — то ли из-за ужасного фильма, то ли из-за ужасного количества икры, съеденной на банкете.

— Я уезжаю в гостиницу, — прошептала я в полутьме, обращаясь к Бетси.

Бетси сидела, уставясь на экран, и боялась пошевелиться.

— Ты плохо себя чувствуешь? — прошептала она, едва разжимая губы.

— Да. Просто ужасно.

— Я тоже. Я поеду с тобой.

Мы поднялись с места и пошли по своему ряду, бормоча на ходу извинения, а публика шипела, и ворчала, и подбирала боты, и убирала зонты, чтобы дать нам пройти, и я наступила во

тьме на несчетное количество ног, потому что мысли мои были заняты единственно тем, чтобы меня не вырвало прямо здесь, а тошнота подступала к горлу с невероятной быстротой и силой.

Когда мы в конце концов очутились на улице, дождь был уже на излете, но все еще шел.

Бетси выглядела чудовищно. Румянец сошел с ее щек, и измятое лицо плыло передо мной, потное и зеленое. Мы рухнули в одно из тех желтых в шашечку такси, которые вечно подкарауливают на перекрестке, когда вы еще пребываете в нерешительности насчет того, брать вам такси или нет, и к тому времени, как мы добрались до гостиницы, меня вырвало один раз, а Бетси — два.

Таксист вел машину, особенно на поворотах, так лихо, что нас на заднем сиденье швыряло от одного окошка к другому. Каждый раз, когда одной из нас становилось дурно, она наклонялась, как будто что-то обронила на пол и хочет найти эту вещицу, а другая принималась тихонько насвистывать и глазела в окно.

Но несмотря на это водитель быстро сообразил, что с нами происходит.

— Послушайте-ка, дорогуши, — запротестовал он, проскользнув на красный свет, — в машине этим заниматься нельзя. Выйдите-ка лучше наружу и сделайте все, что вам нужно!

Но мы ничего не ответили, а он, должно быть, сообразил, что мы уже почти приехали, и не стал высаживать нас, пока мы не оказались у главного входа в гостиницу.

Мы не осмелились дожидаться, пока он объявит, сколько с нас причитается. Мы сунули ему в руку горстку серебра, а пол на обгаженном нами месте прикрыли бумажными салфетками, после чего рванули в холл и через него — к свободному лифту. К счастью для нас, в такое время дня народу здесь не было. В лифте Бетси стошнило еще раз, и я придерживала руками ее голову, а потом стошнило меня, и она поддерживала мою.

Как правило, после того как тебя хорошенько вытошнит, чувствуешь себя лучше. Мы похлопали друг дружку по плечам, попрощались и разбрелись в противоположные концы коридора, чтобы лечь каждой в свою постель. Ничто так не сближает, как совместная рвота.

Но стоило мне закрыть за собой дверь, раздеться и забраться под одеяло, я почувствовала себя еще хуже, чем раньше. Мне понадобилось немедленно отправиться в туалет. Я с трудом надела свой белый купальный халат с синими цветочками и поплелась в туалет.

Бетси была уже там. Из-за двери я услышала ее всхлипыванья и кряхтенье и помчалась поэтому за угол — в туалет другого флигеля. Это было так далеко, что мне казалось, будто я по дороге умру.

Я села на стульчак, положила голову на край раковины и еще, помню, подумала, что вместе с обедом из меня выйдут сейчас все кишки. Тошнота прокатывалась сквозь меня огромными волнами. После каждой такой волны она вроде бы утихала, оставляя меня жалкой, как намокший лист, и дрожащей всем телом, но тут же волна поднималась вновь, и белый плиточный пол моей пыточной камеры уплывал из-под ног, а потолок обрушивался на голову, и стены сдвигались, расплющивая все тело.

Не знаю, сколько времени я там провела. Я пустила воду из крана, выдернув затычку, чтобы каждый, кому вздумается подойти к ванной, решил, что я занимаюсь стиркой, а потом, почувствовав себя сравнительно лучше, легла на пол, растянулась на нем и замерла.

Мне казалось, что лето уже давным-давно прошло, Я чувствовала, как зимняя стужа пронизывает мои кости и сводит холодом зубы, и большое белое гостиничное полотенце, которое я успела расстелить на полу, прежде чем лечь, лежало подо мной безмолвное, как снежная пелена.

Мне показалось, что особа, молотящая кулаком в дверь закрытой ванной комнаты, чрезвычайно дурно воспитана. Так молотить нельзя. Можно ведь просто пройти по коридору, свернуть за угол и направиться во вторую ванную, оставив меня в покое. Я сама недавно в точности так и поступила. Но эта особа продолжала стучаться и требовала, чтобы я впустила ее, и мне показалось, что голос ее звучит довольно знакомо. Это вполне могла быть Эмили Энн Оффенбах.

— Погоди минуточку, — пробормотала я. Слова у меня во рту ворочались, как мельничные жернова.

Я собралась с силами, медленно встала на ноги, уже, должно быть, в десятый раз спустила воду в унитазе и сложила полотенце таким образом, чтобы следы рвоты на нем выглядели не слишком заметными, и только потом открыла дверь и вышла в коридор.

Я понимала, что стоит мне поглядеть на Эмили Энн Оффенбах или на кого угодно другого — и это окажется для меня роковым, поэтому я с трудом сфокусировала взгляд на окошке, мерцавшем в дальнем конце коридора, и пошла, медленно и осторожно заноса одну ногу вслед за другой.

* * *

Следующим, что явилось моему взору, был чей-то башмак.

Это был крепкий башмак из потрескавшейся черной кожи, довольно поизносившийся, но начищенный темным гуталином, и в носке его были крошечные вентиляционные дырочки. Но главное — он был нацелен на меня. Он стоял на той же твердой зеленой поверхности, которая обжигала болью мою щеку.

Я пребывала в неподвижности, пытаюсь сообразить, где нахожусь и что мне делать. Чуть слева от башмака я увидела жалкую кучку синих цветов на белом фоне — и от этого едва не расплакалась. Я смотрела на рукав собственного халата. И из него, бледная, как улитка, вываливалась моя левая рука.

— Она пришла в себя.

Голос донесся из какого-то холодного и рационального пространства, расположенного высоко над моей головой. Какое-то время я даже не понимала, что в этом голосе есть нечто странное, но затем почувствовала неладное. Дело в том, что это был мужской голос, а ни одному представителю мужского пола не было дозволено появляться в гостинице независимо от времени суток.

— И сколько их тут всего? — продолжил все тот же голос.

Я с интересом прислушалась. Пол, на котором я лежала, казался необычайно прочным. Было чрезвычайно утешительно сознавать, что я уже упала и, следовательно, больше мне падать некуда.

— Одиннадцать вроде бы, — ответил женский голос. Теперь и башмак казался мне женской туфлей, и я мысленно соотнесла его с голосом. — Их должно быть еще одиннадцать, но одной как будто нет, так что без этой вот их получается десять.

— Что ж, отведите эту в постель, а я позабочусь об остальных.

В моем правом ухе раздался глухой стук, становящийся все тише и тише. Затем где-то в удалении открылась дверь, слышались какие-то стоны и голоса, и дверь вновь закрылась. Две чужие руки скользнули мне под мышки, и женский голос произнес:

— Вставай, вставай, милочка, мы вдвоем справимся.

И я почувствовала, как меня буквально подняли на ноги, и двери начали медленно

двигаться навстречу, одна за другой, пока перед нами не предстала открытая. В нее-то мы и вошли.

Простыня на моей постели была уже откинута, и женщина помогла мне лечь и закутала меня до подбородка, а потом какое-то время побыла со мной, сидя в кресле и оглаживая себя пухлой розовой ручкой. На ней были очки в золоченой оправе и чепец медсестры.

— Кто вы? — спросила я слабым голосом.

— Гостиничная медсестра.

— Что со мною?

— Отравление. У вас у всех отравление. Никогда не видела ничего подобного. И эту тошнит, и эту. Чем это вы, милые девушки, сегодня объелись?

— А что, еще кто-нибудь заболел? — с некоторой надеждой спросила я.

— Да все вы больны. Скулите, как собачонки, и зовете мамочку.

Комната вокруг меня преобразилась, исполнившись величайшего благородства, словно стулья, столы и стены перестали давить на меня всей своей тяжестью из сочувствия к моим страданиям и моей внезапно открывшейся уязвимости.

— Тебе сделали укол, — сказала медсестра, уже выходя из моего номера. — Сейчас ты уснешь.

И на том месте, где она только что стояла, возникла, как большой лист белой бумаги, дверь, а потом на месте двери возник белый лист еще большего формата, и я поплыла навстречу ему и с улыбкой погрузилась в сон.

* * *

Кто-то стоял у постели, протягивая мне белую чашку:

— Выпей-ка!

Я подняла голову. Подушка затрещала, как ворох соломы.

— Выпей, и тебе полегчает.

Толстостенную белую фарфоровую чашку поднесли прямо к моему носу. В призрачном свете, означавшем не то сумерки, не то вечер, я разглядела чистую и приятно пахнущую жидкость. На ее поверхности плавали масляные пятна, и ноздрей моих достиг слабый аромат курятины.

Я пристально взгляделась в юбку, служившую этой чашке фоном.

— Бетси, — пролепетала я.

— На хрен твою Бетси, это я.

Я подняла глаза и увидела Дорин. Ее волосы на фоне закатного окна, казалось, были охвачены золотым обручем. Лицо ее оставалось в тени, так что о выражении его я могла только догадываться, но почувствовала, как из кончиков ее пальцев струятся нежность и опыт. Сейчас она могла бы и впрямь сойти за Бетси, или за мою мамашу, или за пахнущую папоротником медсестру.

Я повернула голову и попробовала бульон. Мне показалось, что весь рот у меня набит песком. Я сделала еще один глоток, потом еще один и наконец выпила всю чашку.

Я почувствовала себя очищенной, благостной и готовой начать новую жизнь.

Дорин поставила чашку на подоконник, а сама села в кресло. Я заметила, что она не полезла за сигаретами, и, поскольку обычно она курила не переставая, это удивило меня.

— Что ж, ты чуть было не померла, — спокойно произнесла Дорин.

— Думаю, это из-за икры.

— Икра тут ни при чем. Все дело в начинке из крабов. Провели анализ и выяснили, что там было полным-полно птомаина.

Перед моим мысленным взором возникла череда стерильно белых кухонек «Женского журнала», уходящая в бесконечность. Я увидела, как один плод авокадо за другим разрезают, очищают и фаршируют крабами под майонезом, а потом фотографируют под ослепительными вспышками магния. Я увидела нежное, розовое в крапинку мясо, соблазнительно выглядывающее из-под пелены майонеза, и бледно-желтую чашку плода с крокодилово-зеленым ободком, в которую была заложена такая мина.

Отрава.

— А кто проводил анализ?

Я подумала, что доктор вскрыл кому-нибудь из нас живот и проанализировал в гостиничной лаборатории его содержимое.

— Да эти скоты из «Женского журнала». Как только вы все тут принялись блевать и ходить под себя, как младенчики, кто-то позвонил в офис, а из офиса перезвонили в «Женский журнал», и там взяли на анализ все, что оставалось от вашего банкета. Ну и умора!

— Ну и умора! — машинально отозвалась я. Хорошо было вновь оказаться в компании с Дорин.

— Вам прислали подарки, — добавила она. — Они в большой картонке, а картонка в коридоре.

— А как это они успели?

— Экстренная доставка! А как ты себе это представляешь? Не могли же они допустить, чтобы вы бегали по городу и рассказывали каждому встречному о том, как вас отравили в «Женском журнале». Если бы вы наняли хорошего адвоката, вы могли бы обобрать этот журнал подчистую.

— А что за подарки?

Мне начало казаться, что, если подарок будет достаточно хорош, я перестану расстраиваться из-за случившегося, тем более что в конце концов я чувствую себя такой чистой.

— Коробку еще не открыли, потому что все пока валяются у себя в номерах. Мне велели разнести бульон по комнатам, потому что я осталась единственной ходячей. Ну а я решила начать с тебя.

— Посмотри, что это за подарок, — взмолилась я. А затем, кое-что вспомнив, добавила: — У меня для тебя тоже есть подарок.

Дорин вышла в коридор. Я услышала шорох разрываемого картона, и тут же она вернулась, держа в руке толстую книгу в твердом переплете. Вся обложка была покрыта какими-то фамилиями.

— «Тридцать лучших рассказов года»! — Она бросила книгу мне на живот. — И еще одиннадцать точно таких же, в той же коробке. Наверно, они решили, что нужно же вам что-нибудь почитать, пока вы тут валяетесь. — Она сделала паузу. — Ну, а где мой подарок?

Я полезла в сумочку и передала Дорин украшенное маргаритками зеркальце с ее именем. Дорин посмотрела на меня, я выдержала ее взгляд, и мы обе расхохотались.

— Если хочешь, можешь и мой бульон выпить, — сказала она. — Они по ошибке налили двенадцать чашек, а мы с Ленни обожрались «жареными собаками», пока пережидали дождь, и в меня больше ничего не влезет.

— Ну так тащи, — сказала я. — Я умираю от голода.

На следующее утро в семь часов зазвонил телефон.

Я медленно вынырнула с самого дна черной дремоты. За зеркалом у меня уже была засунута телеграмма от Джей Си с выражением соболезнований по поводу крабовой начинки, пожеланием выздоровления и милостивым разрешением не являться сегодня в офис.

Поэтому я просто не представляла, кто бы это еще мог позвонить.

Я потянулась за трубкой и, взяв ее, положила подушку себе под щеку.

— Алло!

На другом конце провода был мужчина.

— Это мисс Эстер Гринвуд?

Мне показалось, что я расслышала в голосе легкий иностранный акцент.

— Вот именно.

— А это Константин Такой-то.

Фамилию я не разобрала, но в ней полно было звуков «с» и «к». Я знать не знала никакого Константина, но сразу же заявить об этом не решилась.

А потом вспомнила о миссис Уиллард и ее переводчике-синхронисте.

— Ну да, конечно же! — воскликнула я, садясь на кровати и берясь за трубку обеими руками. Хотя я и не давала миссис Уиллард разрешения знакомить меня с кем-нибудь по имени Константин.

Я коллекционирую знакомых с интересными именами. К тому времени у меня уже был приятель по имени Сократ. Высокого роста, страшный, как смерть, и чрезвычайно интеллектуальный, он был сыном крупного греческого кинопродюсера из Голливуда. Но к тому же он был еще и католиком, что означало полную бесперспективность наших взаимоотношений. Вдобавок к Сократу, я была знакома с русским белоэмигрантом по имени Аттила. Он работал в Бостонском институте менеджмента.

Постепенно я начала осознавать, что Константин пытается назначить мне свидание на сегодняшний вечер.

— Не угодно ли вам во второй половине дня осмотреть здание ООН?

— Я его как раз осматриваю, — ответила я с легким истерическим смешком.

Мой собеседник остался в полном недоумении.

— Я вижу его из окна.

Возможно, ему казалось, что я говорю по-английски чересчур быстро. В разговоре возникла пауза.

Затем он сказал:

— А потом мы где-нибудь перекусим.

Я почувствовала одно из любимых выражений миссис Уиллард, и душа у меня ушла в пятки. Миссис Уиллард всегда приглашала вас «перекусить». Я вспомнила, что этот человек, едва приехав в Штаты, гостил у миссис Уиллард. Она участвовала в одной из тех программ, согласно которым вы принимаете иностранца у себя в доме, а потом, отправившись за границу, живете у него.

И я поняла, что миссис Уиллард пожертвовала своим шансом пожить в России в обмен на сделанное мне приглашение перекусить в Нью-Йорке.

— Хорошо, я с удовольствием с вами перекушу, — невольно передразнила я. — А в котором часу вы за мной заедете?

— Я заеду в два. Я сам поведу машину. Вы ведь живете в гостинице «Амазонка»?

— Да.

— Что ж, я знаю, где это.

Сперва я подумала было, что в его последнем замечании есть некий тайный смысл, но потом сообразила, что наверняка кто-нибудь из девиц, живущих в «Амазонке», работает в ООН и Константину довелось с одной из них встречаться. Я предоставила ему возможность положить трубку первым, бросила затем свою и сердито откинулась на подушки.

Затем я опять принялась предаваться фантазиям о встрече с человеком, который страстно полюбит меня с первого взгляда, — и все это на основе таких жалких авансов! Осмотр здания ООН с последующим сэндвичем!

Я попыталась разобраться в своих чувствах.

Возможно, переводчик-синхронист, подсунутый мне миссис Уиллард, окажется уродливым коротышкой, и мне придется поглядывать на него свысока, как я в конце концов начала смотреть на Бадди Уилларда. Эта мысль принесла мне известное удовлетворение, потому что я действительно смотрела на Бадди Уилларда свысока, и, хотя все на свете были по-прежнему убеждены в том, что я выйду за него замуж, как только его выпишут из туберкулезного санатория, я-то знала, что никогда не выйду за него, даже если на Земле не останется больше ни одного мужчины.

Потому что Бадди Уиллард оказался лицемером.

Разумеется, сначала я об этом и не догадывалась. Я думала, что парня приятней него на целом свете нет. В течение пяти лет я обожала его издали, а он на меня даже и не смотрел, а потом началось воистину замечательное время, когда я все еще обожала его, а он уже не мог отвести от меня глаз, а потом, когда его чувства становились все сильнее и сильнее, я, по чистой случайности, обнаружила, каким чудовищным лицемером он на самом деле является, — и вот теперь он собирался на мне жениться, а я ненавидела его всей душой. Самым скверным в этом было то, что я не могла просто так взять да и высказать ему все, что я о нем думаю, потому что, прежде чем мне представилась такая возможность, он подцепил туберкулез, и теперь мне предстояло утешать и подбадривать его до тех пор, пока он не окрепнет настолько, чтобы выслушать убийственную правду.

Я решила не спускаться завтракать в кафетерий. Ведь для этого понадобилось бы одеться, а какой смысл одеваться, если хочешь провести все утро в постели? Конечно, я могла бы, наверное, позвонить и заказать завтрак в номер, но это означало бы, что мне придется дать тому, кто принесет его, на чай, а я никогда не знала, сколько именно нужно давать. Здесь, в Нью-Йорке, пытаюсь дать на чай, я уже несколько раз попадала в пренеприятнейшие истории.

Как только я впервые прибыла в гостиницу «Амазонка», лысый карлик в униформе служащего отеля подхватил мой чемодан, донес его до лифта, проводил меня до номера и отпер его. Разумеется, я сразу же кинулась к окну, чтобы посмотреть, какой из него открывается вид. Через некоторое время я обнаружила, что карлик по-прежнему торчит в номере, крутит за чем-то краны умывальника, приговаривая: «Вот это холодная вода, а это горячая», включает и выключает радио и рассказывает мне, как называются нью-йоркские вокзалы, поэтому мне стало как-то не по себе, и я, отвернувшись от него, решительно произнесла:

— Благодарю вас за то, что поднесли мой чемодан.

— «Благодарю вас!» Ну и ну! — Передразнив меня, он саркастически рассмеялся и, прежде чем я обернулась посмотреть, что это на него нашло, ушел, хлопнув дверью со страшной силой.

Позже, когда я поделилась своим недоумением с Дорин, она воскликнула:

— Ах ты, дурочка! Он ждал, что ты ему дашь на чай.

Я спросила, сколько же ему полагалось дать, и Дорин сказала, по меньшей мере четвертак, а если чемодан был очень тяжелый, то и все тридцать пять центов. Но я прекрасно могла

дотащить чемодан и сама, а позволила бою помочь себе только потому, что ему так явно этого хотелось. Мне казалось, что такого рода услуги входят в стоимость номера.

Терпеть не могу платить людям за то, что прекрасно могу сделать сама, это страшно меня нервирует.

Дорин сказала, что чаевые должны составлять десять процентов от суммы счета, но у меня как-то все время не оказывалось нужного количества мелочи, а глупо ведь протягивать человеку полдоллара со словами: «Тут вам пятнадцать центов на чай, а тридцать пять извольте, пожалуйста, вернуть».

Впервые взяв в Нью-Йорке такси, я дала водителю на чай десять центов. На счетчике был доллар, поэтому я решила, что десять центов — это именно то, что нужно, и протянула свой гривенник таксисту с улыбкой и даже чуть раздурманившись. Но он подержал его в горсти — и все глядел на него, все глядел, словно не в силах был отвести глаз, и когда я уже вылезла из машины не без опасения, что ухитрилась сунуть ему канадский десятицентовик вместо американского, он вдруг запричитал:

— Мадам, я ведь тоже живой человек. Мне тоже есть надо! — И причитал он таким громким голосом, что я бросилась бежать. К счастью, на светофоре зажегся красный, иначе он, должно быть, погнался бы за мной на своей машине.

Когда я попросила Дорин объяснить мне, в чем состояла моя промашка, она сказала, что, должно быть, с тех пор как она в последний раз была в Нью-Йорке, правила переменялись и на чай теперь следует давать пятнадцать процентов. Или так, или конкретно этот водитель оказался самым настоящим рвачом.

* * *

Я потянулась за книгой, присланной из «Женского журнала».

Когда я открыла ее, из книги выпала карточка типа почтовой открытки. На лицевой стороне ее был изображен пудель в цветастом жакетике, сидящий с грустной мордочкой на подстилке, а на внутренней стороне тот же пудель растянулся на подстилке с блаженным видом, он явно спал и видел хороший сон, а внизу шла стихотворная надпись: «Покой и сон — и малютка спасен». Она была отпечатана типографским шрифтом, а внизу кто-то приписал от руки чернилами: «Поскорей поправляйся! Твои подруги из „Женского журнала"».

Я перелистывала страницы, просматривая один рассказ за другим, пока не дошла до истории о смоковнице.

Эта смоковница росла на зеленом лугу, расположенном между домом одного еврея и католическим монастырем, и каждое утро еврей и прекрасная монахиня, одетая в черное, встречались под деревом и собирали спелые смоквы, пока однажды они не увидели, как в птичьем гнезде, устроенном на одной из веток смоковницы, лопнуло яйцо и из него вылез наружу крошечный птенчик. И пока они следили за этим, их руки переплелись, и с тех пор молодая монахиня больше никогда не приходила собирать смоквы с евреем, а вместо нее приходила уродливая кухарка, и, закончив сбор плодов, она всегда пересчитывала смоквы, чтобы еврею не досталось больше, чем ей, причем его это приводило в величайшее бешенство.

Я подумала о том, что это замечательный рассказ, особенно в той части, где речь шла о смоковнице зимой, под снегом, и о ней же весной, когда она покрыта зелеными листьями. Дочитав рассказ до конца, я расстроилась. Мне захотелось прокрасться между строчками, примерно так, как пробираешься сквозь дыру в заборе, и улечься спать под этой чудесной смоковницей.

Мне показалось, что мы с Бадди Уиллардом были похожи на этого еврея с его монахиней, хотя, конечно же, мы не были ни евреями, ни католиками. Мы оба были унитариянского вероисповедания. И все же мы с ним встретились под нашей воображаемой смоковницей, и хоть наблюдали мы не за тем, как птенец вылезает из скорлупы, а за тем, как ребенок появляется на свет из материнского лона, но потом случилось нечто ужасное, и мы разошлись каждый своей дорогой.

Лежа сейчас в моей белой, чистой гостиничной кроватке, я почувствовала себя одинокой и слабой и вообразила, будто нахожусь в санатории в Адирондаке, — и тут же ощутила себя последней дрянью. В своих письмах Бадди постоянно извещал меня о том, что он читает поэта, бывшего одновременно и врачом, и о том, что ему удалось выяснить, будто какой-то знаменитый русский писатель-новеллист был доктором тоже, и не означает ли это, что творчество и врачевание могут прекрасно уживаться друг с другом.

Эта песня сильно отличалась от той, которую Бадди пел мне оба года нашего знакомства. Я прекрасно помню, как однажды он с улыбкой спросил у меня:

— А знаешь, Эстер, что такое стихотворение?

— Нет. А что?

— Куча дерьма.

И он посмотрел на меня, столь явно гордясь тем, как ему пришла в голову такая замечательная мысль, что я перевела взгляд на его белокурые волосы, синие глаза и белые зубы — а у него были очень белые и очень здоровые крупные зубы — и сказала:

— Наверное.

И только целый год спустя, уже в Нью-Йорке, я поняла, что мне нужно было тогда ему возразить.

Я провела кучу времени в мысленных поединках с Бадди Уиллардом. Он был на пару лет старше меня и очень эрудирован, так что в наших спорах постоянно брал верх. В разговорах с ним мне неизменно приходилось держать ухо востро.

Мысленные поединки с Бадди до определенной развилки в точности следовали за нашими подлинными беседами, но там, где я в яви, потупив голову, отвечала: «Наверное», в мыслях я раздражалась какой-нибудь остроумной и язвительной тирадой.

И сейчас, лежа на спине, я представила себе, как Бадди задает мне вопрос:

— А знаешь, Эстер, что такое стихотворение?

— Нет. А что? — отвечаю я.

— Куча дерьма.

И тут, пока он улыбается и пыжится от гордости, я отвечаю:

— А что такое, по-твоему, трупы, которые ты вскрываешь? Кучи дерьма. И люди, которых ты, как тебе кажется, лечишь. Кучи дерьма. Дерьмо как дерьмо. Мне сдается, что хорошо написанное стихотворение живет куда дольше, чем сотня таких людей.

И разумеется, на это у Бадди не нашлось бы никакого ответа, потому что я сказала бы ему сущую правду. Люди сделаны из дерьма, люди набиты дерьмом, и я не понимаю, почему лечить это дерьмо — занятие более достойное, чем сочинять стихи, которые кто-нибудь может запомнить и прочесть наизусть другому в часы тоски, болезни или бессонницы.

Беда моя была в том, что я принимала все, что говорил мне Бадди Уиллард, за чистую монету. Помню первую ночь, когда он поцеловал меня. Это было после дня первокурсника в Иейле.

Странны были сами по себе обстоятельства, при которых он пригласил меня на этот праздник.

На рождественские каникулы он вдруг свалился к нам в дом как снег на голову. Он был в

толстом белом свитере и казался таким красивым, что я буквально не могла отвести от него глаз. А он возьми да и скажи:

— А можно мне как-нибудь заехать в колледж повидаться с тобой, а?

Я была просто потрясена. До этих пор я видела Бадди лишь по воскресеньям в церкви, куда мы приезжали каждый из своего колледжа, и только с порядочного расстояния; и я не могла понять, почему это он вдруг заявился повидать меня, — а ему пришлось пробежать от своего дома до нашего две мили, но он сказал, что это он так готовится к кроссу.

Разумеется, наши матери между собой дружили. Они вместе ходили в школу, а потом обе вышли замуж за своих учителей и осели в одном и том же городишке, но Бадди все время, пока мы учились в начальной школе, вечно куда-нибудь уезжал — то на семинар для одаренных подростков, то — летом — подработать денег в Монтане, поэтому дружба наших матерей не имела ровным счетом никакого значения.

После этого неожиданного визита я долгое время ничего о Бадди не слышала, аж до одного милого субботнего утра в начале марта. Я сидела у себя в комнате общежития и готовилась к предстоящему в понедельник экзамену по истории крестовых походов, штудирюя жизнеописания Питера Отшельника и Уолтера Ниццеброта, — и тут у нас на первом этаже зазвонил телефон. Обычно девицы спускались в холл к телефону по очереди, но поскольку я была единственной младшекурсницей на этаже, чаще всего гоняли вниз меня. Я обождала минуту, чтобы выяснить, не опередил ли кто-нибудь меня или, наоборот, не перегонит ли. Но потом сообразила, что никого нет — кто играет в сквош, кто уехал на уик-энд, — и подойти пришлось мне самой.

— Это ты, Эстер? — спросила дежурная, сидящая внизу. — Вот и хорошо: тебя какой-то мужчина спрашивает.

Услышав это, я крайне удивилась, потому что никто из мимолетных кавалеров, с которыми я встречалась на протяжении года, ни разу не позвонил мне и не попросил о повторном свидании. Мне, честно говоря, просто не везло. Я терпеть не могла спускаться вниз каждый субботний вечер, с руками, покрывшимися потом, и с дрожью любопытства во всем теле, — дожидаться, пока какая-нибудь из старших девиц не захочет познакомить меня с сыном лучшей подруги своей тетушки, и обнаруживать себя в компании с каким-нибудь бледным, грибообразным существом, у которого непременно торчащие уши, или заячья губа, или полиомиелит. Мне казалось, что я заслуживаю иного. В конце концов, я ведь не была ни калеккой, ни страшилой, а просто училась с таким прилежанием, что не умела остановиться.

Что ж, я причесалась, тронула губы помадой и взяла с собой учебник истории — так я смогу сказать незнакомцу, будто иду в библиотеку (предосторожность нелишняя, потому что меня вполне могло дожидаться какое-нибудь чудовище), — и вот я отправилась к главным воротам и обнаружила там Бадди Уилларда. Он стоял, облокотившись о столик, на котором раскладывают почту. Он был в куртке цвета хаки на молнии, в синих шароварах и в легких, однако же зимних серых башмаках. Увидев меня, Бадди ухмыльнулся.

— Просто заехал поздороваться, — сказал он.

Мне показалось странным, что можно приехать в такую даль из Йейля, пусть даже автостопом, чтобы сэкономить деньги, — и все для того, чтобы просто поздороваться.

— Привет, — сказала я. — Пойдем-ка посидим на улице.

Я хотела выйти из помещения, потому что дежурила сегодня крайне любопытная старшекурсница и она уже поглядывала на меня с любопытством. Она пребывала в явном убеждении, что у Бадди плохой вкус.

Мы сели рядышком в два плетеных кресла. Небо было безоблачным, ветра не было, и нам стало чуть ли не жарко.

— У меня всего несколько минут, — начал Бадди.

— Да брось ты, оставайся лучше на ленч.

— Увы, не могу. Я иду на день первокурсников с Джоан.

Я почувствовала себя полной идиоткой.

— Как дела у Джоан? — спросила я холодно.

Джоан Джиллинг была из того же города, что и мы с Бадди, ходила с нами в одну церковь и училась в нашем колледже на курс старше меня. Здесь у нас она слыла важной шишкой — староста класса, председатель физического кружка, лучшая хоккеистка всего колледжа. Меня всегда подташнивало от нее — с ее огромными, цвета морской гальки глазами, с огромными, как могильные камни, зубами и оглушительным голосом. И вся она была огромна, как лошадь. Теперь уже я начала подозревать, что у Бадди плохой вкус.

— Да ведь ты ее знаешь. Она пригласила меня на эту танцульку за два месяца, и ее мать спросила у моей, соглашусь ли я на это, так что же мне еще оставалось делать?

— Ну, а почему ж ты согласился, если на самом деле тебе этого не хочется? — Голос мой прозвучал как-то подловато.

— Но мне нравится Джоан. Ей всегда наплевать на то, тратишь ты на нее деньги или нет, и ей по душе вылазки на природу. В последний раз, когда она приезжала ко мне в Йейль на уик-энд, мы приняли участие в велокроссе на Ист-Рок, и она оказалась единственной, кому не пришлось помогать на подъеме. Джоан — мировая девка.

Я похолодела от зависти. Я никогда не была в Йейле, а именно там большинству наших старшекурсниц особенно нравилось проводить уик-энды. Я решила, что от Бадди Уилларда мне ждать нечего. А если от человека ничего не ждешь, то он не способен разочаровать тебя.

— Пойди-ка тогда лучше да поищи Джоан, — сказала я деловитым тоном. — Через пару минут здесь появится мой парень, и ему вряд ли придется по вкусу, что я тут с тобой ошиваюсь.

— Твой парень? — Бадди был в полном недоумении. — А кто же это такой?

— Их, собственно говоря, двое. Питер Отшельник и Уолтер Нищеврод.

Бадди ничего не ответил, поэтому я поспешила добавить:

— Такие уж у них клички. — И, еще немного подумав — Они из Дартмута.

Подозреваю, что Бадди никогда не заглядывал в учебник истории, потому что я заметила, как он поджал губы. Он рывком поднялся из кресла и без особой надобности поддал ему ногой. Затем он бросил мне на колени бледно-голубой конверт с эмблемой Йейля.

— Здесь письмо, которое я собирался оставить для тебя в том случае, если не застану. В нем вопрос, на который ты можешь ответить тоже в письме. Задавать его тебе прямо сейчас мне как-то не хочется.

После его ухода я вскрыла конверт. Там было приглашение на день первокурсника в Йейле.

Я пришла в такое изумление, что, издав сперва нечленораздельный вопль, ворвалась в здание с криками:

— Еду! Еду! Еду!

После яркого солнечного света на крыльце здесь было темно, и я практически ничего не видела. Вдруг я обнаружила, что обнимаю и похлопываю по плечам дежурную. Услышав о том, что я еду на день первокурсника в Йейле, она продемонстрировала удивление и подчеркнутое уважение.

И, странное дело, отношение ко мне после этого резко переменилось. Старшекурсницы с нашего этажа начали сами со мной заговаривать и, случалось, услышав телефон, немедленно спешили к нему. И никто больше не делал громких и язвительных замечаний у меня под дверь о людях, троящих золотое времечко в колледже на бессмысленную зубрежку.

Однако же на протяжении всего праздника Бадди обращался со мною так, как будто я доводилась ему тетушкой или кузиной.

Мы танцевали на гигантской дистанции друг от друга, пока музыканты не заиграли «Старый добрый грех», — и тут Бадди вдруг положил подбородок мне на макушку, как будто внезапно лишился последних сил. Затем на холодном черном ветру, какой только и дует в три часа ночи, мы медленно прошли расстояние в пять миль от танцевального зала до дома, в котором мне предстояло переночевать на короткой для меня кушетке в гостиной, но стоил такой ночлег всего пятьдесят центов, а вовсе не два доллара, как брали в домах с приличными кроватями.

Я была мрачна, плоска и полна самых смутных видений.

Я вообразила, будто Бадди влюбился в меня за этот уик-энд, и мне, следовательно, не придется больше до самого конца года ломать голову над тем, чем бы себя занять в субботу вечером. А когда мы уже практически подошли к дому, где меня ждала кушетка, Бадди сказал:

— Пойдем-ка наверх, в химическую лабораторию.

Я страшно удивилась:

— В химическую лабораторию?

— Да. — Бадди взял меня за руку. — Оттуда открывается чудесный вид.

И конечно же, в дальнем конце этой лаборатории нашелся закуток, откуда можно было увидеть огни Нью-Хейвена.

Я застыла, делая вид, будто любуюсь ими, пока Бадди старался встать потверже. Когда он начал целовать меня, я держала глаза открытыми и пыталась не просто запомнить, а навсегда сохранить в памяти эти огни.

Наконец Бадди от меня оторвался:

— Ух ты!

— Что значит «ух ты»?

Меня удивила его реакция. Поцелуи наши были суховаты и мало вдохновляющи, и я, помнится, еще подумала, как это скверно, что от долгой прогулки у нас обоих растрескались губы.

— Ух ты, мне страшно нравится целоваться с тобой!

В ответ на что я скромно промолчала.

— Думаю, у тебя куча парней, — добавил Бадди.

— Можно сказать и так.

И действительно, можно было сказать и так, потому что каждую неделю я «отправлялась в свет» с кем-нибудь другим.

— Да, но мне приходится много заниматься.

— Мне тоже, — заспешила я. — Мне ведь необходимо получить стипендию.

— И все-таки, надеюсь, я смогу с тобой видаться по уик-эндам один раз в три недели.

— Это было бы недурно.

Я едва не лишилась чувств: так мне захотелось побыстрее вернуться в колледж и похвастаться перед подругами.

Бадди поцеловал меня еще раз, на прощание, у дверей дома, а на следующую осень, когда он получил стипендию в Высшей медицинской школе, я ездила к нему не в Йейль, а туда — и именно там я и выяснила, как он дурачил меня все эти годы и каким лицемером он был на самом деле.

Я выяснила это в тот день, когда мы присутствовали при родах.

Я постоянно приставала к Бадди с тем, чтобы он показал мне у себя в больнице что-нибудь по-настоящему интересное, — и вот однажды, в пятницу, я ушла со всех занятий и устроила себе удлиненный уик-энд, избрав Бадди своим вожатым. Для начала я переделалась в белый халат и, усевшись в высокое кресло, понаблюдала в помещении с четырьмя покойниками, как Бадди и его коллеги производят вскрытие. Эти трупы меня несколько не взволновали, потому что они совершенно не походили на живых людей. У них была твердая красно-черная, похожая на обивку кресел кожа, и несло от них чем-то вроде огуречного рассола.

Потом Бадди провел меня в большой холл, где держат в банках мертворожденных младенцев. У первого ребенка была большая белая голова и скрюченное тельце размером с лягушачье. Следующий был уже чуть побольше, а третий — еще больше, а младенец в последней банке был уже размером с натурального новорожденного, и, казалось, он поглядывал на меня, ухмыляясь поросычьей ухмылкой.

Я испытывала определенную гордость из-за хладнокровия, которое выказала при этом ужасном осмотре. Единственный раз я вышла из себя и даже подпрыгнула на месте, когда нечаянно облокотилась на живот одного из покойников, наблюдая за тем, как Бадди вырезает у него легкое. Еще минуточку-другую я ощущала в локте какое-то жжение, и мне даже пришло в голову, что покойник еще не совсем покойник, потому что он теплый, поэтому я слезла с кресла, издав даже некий вопль. Но Бадди объяснил мне, что жжение возникло только под воздействием формалина, которым было покрыто тело, и я вернулась на прежнее место.

За час до ленча Бадди привел меня на лекцию по злокачественному белокровию и некоторым другим столь же удручающим заболеваниям. В ходе лекции на подиум вывозили в креслах-каталках больных, задавали им вопросы, а затем увозили, а нам показывали цветные слайды.

На одном из слайдов была, помнится, красивая смеющаяся девушка с черным пятнышком на щеке.

— Через двадцать дней после того, как это пятнышко появилось, девушка умерла, — объявил доктор, и все на какую-то минуту притихли, а тут как раз зазвенел звонок, и я так и не узнала, что это было за пятнышко и почему девушка умерла.

После обеда мы пошли посмотреть на роды.

Сперва мы зашли в какую-то кладовую в больничном коридоре, и Бадди выдал мне белую маску и марлевую повязку.

Высокий, ростом с Сидни Гринстрита, и очень толстый студент-медик околачивался поблизости, наблюдая за тем, как Бадди прячет мои волосы, да и все лицо под маску. В конце концов незакрытыми у меня остались только глаза.

Студент пренеприятнейшим образом хихикнул:

— Что ж, родная матушка вас, может быть, и признала бы.

Я была слишком занята размышлениями о том, насколько он толст и как это, должно быть, скверно для мужчины, а особенно — для молодого мужчины, быть таким толстяком, потому что женщине, чтобы поцеловать его, пришлось бы перегибаться через его живот, — так, повторяю, я была этим занята, что сразу даже не поняла оскорбительного смысла, заключенного в его ремарке. А к тому времени, как я поняла, что он считает себя большим остряком, и придумала ответ, состоящий в том, что только родная мать способна любить такого толстяка, студент уже куда-то исчез.

Бадди изучал настенное табло, изготовленное из дерева и пронизанное дырами разных

размеров — от серебряного доллара до обеденной тарелки.

— Прелестно, прелестно, — произнес он, обращаясь ко мне. — Как раз сейчас начнутся роды.

В дверях кабинета стоял тощий сутулый студент, оказавшийся знакомцем Бадди.

— Привет, Уилл! Кто сегодня дежурит?

— Я, — мрачно ответил Уилл, и я заметила, что на его бледном лбу сверкают капельки пота. — Я, и это мои первые роды.

Бадди объяснил мне, что Уилл является адъюнктом третьего года и что ему предстоит принять восемь родов, прежде чем ему выдадут диплом.

Тут он заметил движение в дальнем конце коридора, и навстречу нам двинулась процессия, состоящая из нескольких мужчин в халатах известкового цвета и в капюшонах и пары-тройки медсестер. Они катили по коридору каталку, на которой лежало что-то большое и белое.

— Не стоило бы тебе глядеть на это, — прошептал Бадди мне на ухо. — Посмотришь и потом никогда не захочешь иметь детей. Нельзя позволять женщинам смотреть на это. Так все люди на земле скоро вымрут.

Мы с Бадди рассмеялись, он потряс руку Уиллу, и мы игроем прошли в кабинет.

Я была так потрясена видом кресла, в которое поместили роженицу, что не сумела произнести ни слова. Оно выглядело как самая настоящая дыба, со всеми своими металлическими подвесками и приспособлениями с одной стороны и со всевозможными инструментами, проводами и трубками непонятного мне назначения — с другой.

Мы с Бадди встали у окна, всего в нескольких футах от роженицы. Отсюда нам было прекрасно видно.

Живот женщины вздымался в воздух такой горой, что ни лица ее, ни верхней части тела мне было не разглядеть. Казалось, она целиком и полностью состоит из этого чудовищного, жирного, как паучье, брюха и двух крошечных, уродливо вздернутых в зажимах ножек, и на протяжении всех родов она только и делала, что нечеловеческим голосом орала.

Позже Бадди объяснил, что роженице дали таблетку, чтобы она не испытывала мучений, и что, рыдая и бранясь, она на самом деле не понимала, что делает, потому что пребывала в своего рода сумеречном сне.

Я решила, что это именно такая таблетка, какую в состоянии изобрести только мужчины. Здесь, перед нами, лежала женщина, и было ясно, что она испытывает чудовищные мучения, иначе бы она так не кричала, — а, воротясь домой, она, тем не менее, забеременеет вновь, потому что таблетка заставит ее забыть о том, какую муку она претерпела, когда на протяжении всего времени родов в потаенной глубине ее тела то открывался, то затворялся, потрясая ее всю, длинный, слепой, без окон и дверей, коридор страданий.

Главврач, курировавший работу Уилла, без конца повторял роженице: «Давайте, миссис Томоллилло, давайте, будьте молодчиной, давайте!» — и в конце концов я увидела, как в пробритой щели между ее ног, мокрой от дезинфектанта, появилась какая-то темная, призрачная штука.

— Голова ребенка, — прошептал мне Бадди под шум ее криков и рыданий.

Но голова ребенка по какой-то причине застряла, и доктор сказал Уиллу, что надо делать надрез. Я услышала, как ножницы рассекли кожу женщины, словно какую-нибудь материю, и сразу же полилась кровь — яркая, алая кровь. Затем, как-то вдруг, весь ребенок очутился в руках у Уилла, — и был он цвета темной сливы, измазанный кровью и чем-то белым, а Уилл внезапно запричитал: «Я сейчас уроню его, я сейчас уроню его» — и совершенно перепугался.

— Нет, не уроните, — сказал главврач, взял у него ребенка и принялся массировать тельце новорожденного. Синий цвет схлынул, младенец заверещал хрипловатым и потеряннным

голосом, и я увидела, что это мальчик.

Первым делом этот мальчик помочился в лицо доктору. Позже я сказала Бадди, что не понимаю, как такое могло произойти, а он ответил мне, что такое случается, хотя и довольно редко.

Как только ребенок появился на свет Божий, люди в помещении разбились на две группы. В одну попали медсестры, занявшиеся младенцем: они прицепили ему металлическую табличку на запястье, протерли глаза ваткой на палочке и запеленали. А во вторую вошли главврач и Уилл: они начали сшивать тело женщины длинной нитью.

Кто-то вроде бы сказал: «Миссис Томоллилло, у вас мальчик», но женщина не ответила и даже не подняла головы.

— Ну, и как оно тебе? — спросил Бадди, пока мы шли по зеленым квадратам пола к нему в кабинет. На лице у него было выражение глубокого удовлетворения.

— Просто чудесно. Я могла бы смотреть на такое каждый день.

У меня не хватило духу спросить, нет ли какого-нибудь другого способа производить детей на свет. По какой-то причине самым главным для меня представлялось быть в состоянии проследить за тем, как дитя выходит из твоего лона, чтобы наверняка убедиться в том, что это именно твой ребенок. Я подумала, что раз уж все равно приходится так страдать, то есть смысл оставаться при этом в полном сознании.

Я всегда представляла себе, как это произойдет: я поднимусь на локтях, после того как все будет позади, смертельно бледная, разумеется, и без какой бы то ни было косметики, и соответственно растрепанная, но улыбающаяся и сияющая, с волосами, волной ниспадающими до талии, — и протяну руку к своему младенцу, и назову его имя, которое мне еще предстоит изобрести.

— А что это за жидкостью он был покрыт? — спросила я у Бадди исключительно для поддержания беседы, и он сообщил мне, что кожу младенца намазали вазелином.

Когда мы пришли в комнатку к Бадди, больше всего напомнившую мне монашескую келью, потому что в ней ничего не было, кроме голых стен, голого пола, голой кровати и письменного стола, на котором лежала «Анатомия» Грея и другие ужасные книги, Бадди зажег свечу и раскупорил бутылочку дубонне. Затем мы легли рядышком на кровать и Бадди потягивал свое вино, пока я декламировала ему «Край, мне возбранный» и другие стихи из сборника, который привезла с собой.

Бадди сказал мне как-то, что в поэзии, должно быть, и впрямь что-то есть, раз уж такая девушка, как я, тратит на нее все свободное время, поэтому при каждой встрече я читала ему какие-нибудь стихи и объясняла, чем именно они мне понравились. Поступала я так по просьбе Бадди. Он всегда старался организовать наши уик-энды таким образом, чтобы впоследствии нам не стало жаль понапрасну потерянного времени. Отец Бадди был преподавателем, и Бадди, я думаю, тоже следовало бы стать преподавателем, потому что он все время пытался что-то мне объяснить и чему-нибудь новому научить.

И вдруг, когда я дочитала одно из стихотворений до конца, он спросил у меня:

— Слушай, Эстер, а ты мужика когда-нибудь видела?

И по тому, как он произнес это, я поняла, что речь идет не о деревенском мужике и не о каком-нибудь другом мужике, а о мужике голом.

— Нет, — ответила я. — Только статуи.

— А тебе интересно было бы посмотреть на меня?

Я не знала, что на это ответить. В последнее время и мать, и бабка без умолку твердили мне о том, какой замечательный, какой чистый мальчик Бадди Уиллард да из какой замечательной, каких строгих правил семьи он происходит, да о том, что все в церкви считают его просто

идеалом, потому что он так хорошо относится к своим родителям и вообще к старшим, да о том, какой он умный, красивый и спортивный.

И постоянно добавляли, что именно для таких замечательных и чистых мальчиков, как Бадди, следует беречь свою чистоту и юным девушкам, вроде меня. Поэтому я не ожидала с его стороны ни малейших неприятностей.

— Что ж, пожалуй, — вымолвила я.

Я тупо смотрела, как Бадди расстегнул, снял и повесил на стул брюки, а затем стащил с себя и трусы. Трусы у него были нейлоновые, в сеточку.

— Так прохладней, — пояснил он, — и мать говорит, что они легче стираются.

Затем он встал передо мной во весь рост, а я по-прежнему смотрела на него. То, что я увидела, напомнило мне индюшачью голову на индюшачьей же шее и почему-то крайне расстроило.

Бадди был явно обижен тем, что я ничего не сказала.

— Думаю, тебе следует привыкать ко мне в таком виде, — сказал он. — Ну, а теперь давай посмотрим на тебя.

Но раздевание на глазах у Бадди показалось мне вдруг настолько же отвратительным, как фотографирование в голом виде в колледже, — а там тебя снимают и спереди, и сбоку исключительно для того, чтобы поместить эти фотографии в картотеку физкультурного зала под индексом «А», «Б» или «В» — в зависимости от того, насколько ты стройна.

— Да как-нибудь в другой раз.

— Что ж, как хочешь.

Бадди оделся.

Затем какое-то время мы целовались и обнимались, и мое настроение стало чуточку получше. Я допила, села, закинув ногу на ногу, на кровати у Бадди, и попросила расческу. Я зачесала волосы себе на лицо так, чтобы Бадди не было видно его выражения. И вдруг спросила:

— Послушай, Бадди, а у тебя был кто-нибудь?

Сама не знаю, почему я задала этот вопрос. Слова, казалось, сами полились у меня изо рта. Я, разумеется, и мысли не имела, что у Бадди уже мог кто-нибудь быть. Я ждала, что он ответит мне: «Нет, что ты, я храню себя до брака с чистой и девственной особой, вроде тебя».

А Бадди не ответил и почему-то покраснел.

— Ну, так как же?

— А что ты имеешь в виду, говоря «был»? — уточнил он, и голос его прозвучал как-то пусто.

— Ну, ты уже с кем-нибудь спал?

Я продолжала ритмически проводить по волосам расческой, зачесывая их на щеку, обращенную к Бадди, и я чувствовала, как по коже проходит легкая электрическая дрожь, и мне хотелось закричать: «Нет, не надо, не говори, пожалуйста, ничего!» Но я сдержалась и молча ждала его ответа.

— Собственно говоря, да, — в конце концов выдавил из себя Бадди.

Я едва чувств не лишилась. С первой же ночи, когда мы с Бадди поцеловались, он постоянно давал мне понять, что я куда сексуальней и опытней в таких делах, чем он, недаром же он сказал мне, что у меня, наверно, была куча парней, и что все наши поцелуи, объятия и прочие маленькие забавы происходили не то чтобы по моей инициативе, но были для него совершенно в диковинку, он, мол, просто ничего не мог с собой поделать и сам не знал почему.

Теперь я поняла, что его невинность была всего лишь розыгрышем, подделкой.

— Расскажи-ка мне об этом.

Я продолжала проводить расческой по волосам, но зубья теперь впивались мне в щеку.

— Как ее звали?

Бадди, казалось, почувствовал облегчение от того, что я не рассердилась. Да и дополнительное облегчение из-за того, что наконец-то мог поведать о том, как его соблазнили. Потому что, разумеется, его соблазнили. Не Бадди же это начал, и не его вина была в том, что это произошло. Прошлым летом он работал младшим официантом в гостинице на Кейп-Коде. И была там одна официанточка. Бадди заметил, что она поглядывает на него как-то по-особому и норовит в кухонной сумятице показать ему свои груди, поэтому он однажды решился и спросил у нее, в чем дело и чего ей от него нужно. А она посмотрела ему прямо в глаза и сказала:

— Я хочу тебя, парень.

— С гарниром, — рассмеялся Бадди.

— Нет. Как-нибудь вечером.

И на этой тропе Бадди лишился юношеского целомудрия.

Сперва я решила было, что он переспал с официанткой один-единственный раз, но когда, чтобы окончательно убедиться, я спросила его, сколько раз он с ней спал, Бадди ответил, что точно вспомнить не может, но пару-тройку раз в неделю на протяжении всего лета это происходило. Я умножила три на десять и получила тридцать. Число оказалось выше моего разума.

И тут что-то во мне словно заledenело.

Вернувшись в колледж, я начала расспрашивать старшекурсниц о том, как бы они отнеслись к известию о том, что парень, с которым ты встречаешься, тридцать раз подряд переспал с какой-то грязной официанткой, причем в разгар романа с тобою. Но старшекурсницы отвечали, что все парни таковы и что их нельзя ни в чем обвинить, пока вы не будете обручены или, как минимум, помолвлены.

Собственно говоря, вовсе не мысль о том, что Бадди с кем-то там переспал, беспокоила меня так сильно. Я ведь читала в книгах о всяких историях, когда кто-то с кем-то спит, и окажись на месте Бадди любой другой парень, я просто расспросила бы его о наиболее интересующих меня деталях, и, возможно, сама переспала бы с кем-нибудь исключительно для того, чтобы сравнить счет, — и сразу бы обо всем позабыла.

Но меня просто бесило то, что Бадди изображал, будто я такая сексуальная, а он такой скромник, — а сам в это время спал с потаскушкой-официанткой. Да он просто смеялся мне в лицо!

— Ну, а что думает об этой официантке твоя матушка? — спросила я у Бадди.

Бадди был на удивление любящим сыном. Он без конца цитировал материнские рассуждения о взаимоотношениях полов, и я знала, что миссис Уиллард была в вопросе сохранения девственности самой настоящей фанатичкой — причем применительно не только к девушке, но и к парню. Когда меня впервые пригласили к ним домой на обед, она посмотрела на меня так пристально и испытующе, что я сразу же поняла: она пытается определить, девственна я или нет.

Бадди, как я и ожидала, пришел в сильное смущение.

— Мама расспрашивала меня о Глэдис, — 'Признался он.

— Ну, и что же ты ей ответил?

— Я сказал ей, что Глэдис не замужем, что она белая и совершеннолетняя.

Я, конечно же, понимала, что Бадди никогда в жизни не позволил бы себе ответить матери столь бесцеремонно. Он постоянно, к месту и не к месту, вспоминал ее изречение: «Мужчине нужно совокупление, а женщине — бесконечная уверенность». И еще одно, под парю к первому: «Мужчина — это стрела, устремленная в будущее, а женщина — тетива, с которой эту стрелу спускают». Мне эти изречения просто осточертели.

Каждый раз, когда я пыталась с ним на эти темы поспорить, Бадди отвечал, что его мать до сих пор испытывает удовольствие от половой близости с отцом, а поскольку такое в их возрасте весьма удивительно, то это означает, что она в таких вещах крупный специалист.

Что ж, я решила расстаться с Бадди Уиллардом раз и навсегда, но не потому, что он спал с треклятой официанткой, а потому, что у него не хватило мужества заявить об этом в открытую и заставить окружающих примириться с таким фактом, как с одним из проявлений его характера. Но едва я приняла такое решение, как телефон в холле зазвонил и кто-то затянул нараспев:

— Это тебя, Эстер, это звонят из Бостона.

Я сразу же поняла, что случилась какая-то неприятность. Потому что во всем Бостоне единственным моим знакомым был Бадди и потому что он ни за что бы не позвонил по междугородному, так как послать письмо было куда дешевле. В том случае, когда ему надо было сообщить мне что-то срочное, он обходил весь свой институт в поисках парня, который отправлялся бы к нам в колледж на ближайший уик-энд, и, конечно же, кто-нибудь такой непременно находился, и Бадди вручал ему послание, и я получала его в тот же день. Так он и на почтовой марке сэкономил.

И разумеется, это был Бадди. Он сказал мне, что на ежеосенней рентгенографии у него нашли туберкулез и что его переводят в медицинский институт для студентов, больных туберкулезом, размещенный в туберкулезном санатории в Адирондаке. Затем он напомнил мне, что с последней нашей встречи я ему не писала, выразил надежду на то, что в наших отношениях ничего не изменилось и что я буду писать ему по меньшей мере раз в неделю, а также приеду в санаторий на рождественские каникулы.

Я никогда не видела его таким взволнованным. Он всегда гордился своим безукоризненным здоровьем, а когда у меня случались приступы астмы и я не могла дышать, уверял меня, будто они чисто неврастенического происхождения. Мне казалось, что для будущего врача это довольно странный подход к проблеме, и я думала даже, не лучше ли Бадди учиться не на терапевта, а на психиатра, но у меня никогда не хватало духу сказать ему об этом.

Я сказала Бадди, что его болезнь меня страшно расстроила, и пообещала писать. Но, повесив трубку, не почувствовала ни малейшей грусти. Напротив, испытала величайшее облегчение.

Я подумала, что туберкулез, возможно, является Божьей карой за двойную жизнь, какую вел Бадди, и за гордыню, с какой он относился к прочим людям. И я подумала о том, как удачно вышло, что мне не придется теперь рассказывать всем и каждому в колледже о том, что я рассталась с Бадди, и опять предаваться скучнейшему флирту со случайными кавалерами.

Я просто сообщила всем, что Бадди заболел туберкулезом и что мы с ним практически помолвлены, — и поэтому, когда я субботними вечерами оставалась в общежитии и занималась науками, все относились ко мне крайне благожелательно и жалели бедняжку, которая так мужественно себя ведет, тогда как сердце ее на самом деле разбито.

Разумеется, Константин оказался маловат ростом, но на свой лад довольно симпатичен. У него были светло-каштановые волосы и темно-синие глаза, а на губах витала приятная дерзкая улыбка. Он вполне мог бы сойти за американца — со своим превосходным загаром и ослепительными зубами, — но я с самого начала поняла, что он таковым не является. У него было то, что начисто отсутствует у всех американских мужчин, которых я знаю, а именно — интуиция.

С первых минут знакомства Константин начал догадываться о том, что я вовсе не настолько уж без ума от миссис Уиллард. Я то недоуменно вздергивала бровку, то раздражалась сухим смешком, — и вот уже мы говорили о ней безо всяких обиняков, и я тогда же подумала: «Этому Константину совершенно наплевать на то, что я слишком высокого роста, и не знаю иностранных языков, и никогда не была в Европе, — он в состоянии разглядеть мою подлинную сущность».

Константин повез меня в здание ООН на своей машине. Это был старый автомобиль зеленого цвета с откидным верхом и со скрипучими, но удобными коричневыми кожаными сиденьями. Верх он откинул. Константин объяснил мне, что умудрился так загореть, играя в теннис, и пока мы, сидя рядышком, мчались по улицам под открытым небом, он взял меня за руку и слегка пожал ее — и я вдруг ощутила такое счастье, какого не испытывала с тех пор, как мне было девять и я носилась по песчаным отмелям вдвоем с отцом, а было это тем летом, после которого он умер. И потом, когда мы с Константином сидели в одной из этих обитых плюшем аудиторий в ООН, рядом с мрачной и мускулистой русской девицей, которая не пользовалась косметикой и была, как и сам Константин, синхронным переводчиком, я подумала, как странно, что я до сих пор не замечала того, что ощущение подлинного счастья оставило меня в девятилетнем возрасте. А после девяти — несмотря на гёрлскаутство, и занятия музыкой и акварелью, и уроки танцев, и даже парусный спорт — а на все это сумела расщедриться для меня мать, — несмотря на занятия в колледже с пробежками в тумане перед завтраком, и черничным пирогом на завтрак, и вспышками мыслей и озарений, посещавшими меня едва ли не ежедневно, — я уже никогда не была по-настоящему счастлива.

Я уставилась на русскую переводчицу в ее двубортном сером костюме и услышала, как она накручивает одну идиому за другой на своем загадочном языке (что, как мне сообщил Константин, было наиболее сложным аспектом ее работы, потому что английские идиомы не совпадают с русскими), — и мне отчаянно захотелось забраться в ее шкуру и провести остаток своих дней, хрипло выкрикивая один фразеологический оборот за другим. Возможно, я и не стала бы от этого счастливее, но это подбросило бы камешек пользы к другим, куда менее осмысленным камешкам моего существования.

И затем мне показалось, будто Константин, и русская переводчица, и вся орава черных, белых и желтых людей, спорящих в свои микрофоны, куда-то удалились или, во всяком случае, отдалились. Я видела, как беззвучно открываются и закрываются их рты, как будто они находились сейчас на палубе отплывающего корабля, а я стояла на берегу в своем одиноком молчании.

Я начала перечислять про себя все то, чего я не умею делать.

И начала с готовки.

Моя бабушка и мать так хорошо готовили, что я полностью предоставляла им управляться с этим самим. Они постоянно пытались научить меня готовить то или иное блюдо, но я тупо следила за их действиями и приговаривала: «Понятно, понятно», тогда как слова инструкции

пролетали у меня мимо ушей, и потом я ухитрилась настолько испортить кушанье, что меня больше никогда не просили его готовить.

Я подумала о Джоди — моей лучшей и единственной подруге в первый год в колледже. Однажды утром она у себя дома приготовила мне яичницу. У яичницы был непривычный вкус, а когда я спросила у Джоди, не добавила ли она туда чего-нибудь, она сказала, что да, добавила сыр и чеснок. Я спросила, кто научил ее этому, а она ответила, что никто, она, мол, сама придумала. Но, в конце концов, у нее был практический склад ума: она ведь была у нас старостой кружка по социологии.

А еще я не умела стенографировать.

Это означало, что по окончании колледжа мне будет не устроиться на выгодную работу. Мать постоянно твердила мне, что специалисты по английскому языку и литературе никому не нужны. Вот если ты становишься специалистом по английскому и при этом владеешь стенографией — это совершенно другое дело. Тогда ты идешь нарасхват. Тогда все эти молодые гении предлагают тебе место секретарши и начинают диктовать одно интереснейшее письмо за другим, а тебе остается только расшифровать их.

Беда была в том, что я не собиралась кого-нибудь и каким-нибудь образом обслуживать. Интереснейшие письма я намеревалась диктовать сама. И, кроме того, эти крошечные закорючки из книги, которую постоянно подсовывала мне мать, казались мне столь же чудовищными, как физические уравнения.

Мой перечень продолжал расти.

Я ужасно танцую. Я постоянно сбиваюсь с ритма. У меня нет чувства равновесия, и когда в физкультурном зале мы шли по бревну, раскинув руки и положив на голову книгу, я вечно с него сваливалась. Я не умею кататься на лошади и бегать на лыжах, хотя заниматься и тем, и другим мне хотелось больше всего на свете, потому что это самые дорогостоящие забавы. Я не говорю по-немецки, и не читаю по-древнееврейски, и не пишу по-китайски. Я даже не знаю толком, где искать на карте большинство государств, из которых приехали сидящие в здании ООН люди.

И сейчас, очутившись в звукоизолированном сердце ООН, сидя между Константином, с одинаковым мастерством умеющим играть в теннис и заниматься синхронным переводом, и русской девицей, которая знает так много фразеологических сочетаний, я впервые в жизни поняла, насколько я сама не от мира сего. Беда в том, что я всегда была не от мира сего, но только сейчас это осознала.

Единственное, что я по-настоящему здорово умела, было завоевание всяческих наград и стипендий, но эта эра уже подходила к концу.

Я чувствовала себя чем-то вроде беговой лошади в мире, в котором вдруг отменили бега, или же вроде выдающегося футболиста из колледжа, вроде того атлета, который, внезапно втиснувшись в серый костюм и оказавшись на Уолл-стрите, видит, как дни его славы, съездившись, превратились всего лишь в маленький золотой значок у него на плаще, а даты побед выгравированы на значке, как на надгробной плите.

Я почувствовала, как жизнь моя простирает надо мной свои ветви, как смоковница из прочитанного рассказа.

С конца каждой ветви, подобно сочной смокке, свисало и подмигивало, маня, какое-нибудь лучезарное будущее. Одна смоква означала мужа, детей и полную чашу в доме, другая — судьбу знаменитого поэта, третья — карьеру университетского профессора, четвертая, по аналогии с Джей Си, превращала меня в Э Ги — выдающуюся издательницу и редактрису, пятая звала в Европу, и в Африку, и в Южную Америку, шестая отзывалась именами Константина, Сократа, Аттилы и еще доброго десятка других возлюбленных с непроизносимыми именами и непредставимыми профессиями, седьмая сулила мне звание олимпийской чемпионки по гребле,

а выше на ветвях виднелись и другие плоды, ни названия, ни назначения которых мне пока не дано было угадать.

Я представила себе, как сижу под этой смоковницей, умирая от голода только потому, что не могу решиться, какую именно смокву сорвать. Мне хотелось сорвать их все сразу, но выбрать одну из них означало бы отказаться от всех остальных — и вот, пока я в колебании и нерешительности там сидела, плоды начали морщиться и чернеть и один за другим падать мне под ноги.

В ресторане, куда повел меня Константин, пахло пряностями и подливками. За все время, пока я находилась в Нью-Йорке, я еще ни разу не была в таком заведении. Сама я забредала исключительно в закусочные, меню которых состояло из гигантского гамбургера, дежурного супа и четырех сортов пирога. Правда, в них было чисто и вдоль всей стойки шли огромные зеркала.

А этот ресторан располагался в каком-то подвале. Чтобы попасть туда, нам пришлось спуститься по едва освещенной лестнице.

На закопченных стенах висели выцветшие плакаты туристических агентств. Швейцарские озера, японские горы, африканский вельд. На каждом столике стояли толстые, бутылочной формы свечи, которые, казалось, находились здесь уже долгие века и за это время выплакали свои красные, синие и зеленые слезы в уютное трехмерное озеро, лица в котором плыли, обращенные друг к другу, и словно бы пламенели сами.

Не помню, что я ела, но, едва начав есть, почувствовала себя гораздо лучше. Мне даже пришло в голову, что мое недавнее видение, в котором смоковница теряла один за другим свои сочные плоды, во многом объяснялось позывами пустого желудка.

Константин постоянно подливал нам в бокалы сладкого греческого вина, пахнущего еловой корой, и я обнаружила, что рассказываю ему о том, как выучу немецкий, и поеду в Европу, и стану там знаменитым репортером, вроде Мэджи Хиггинс.

Когда мы принялись за йогурт и земляничный джем, я уже чувствовала себя настолько хорошо, что решила позволить Константину соблазнить меня.

* * *

С тех самых пор, как Бадди Уиллард рассказал мне о своей официантке, я подумала о том, чтобы с кем-нибудь переспать.

Можно было, конечно, переспать и с Бадди — но это не считалось бы, потому что он все равно опережал бы меня на одного сексуального партнера. Тут нужен был кто-то другой.

Единственным парнем, с которым я всерьез собиралась отправиться в постель, был мрачный, с ястребиным носом южанин из Йейля, приехавший однажды на уик-энд к нам в колледж словно бы единственно затем, чтобы обнаружить, что его подружка за день до этого удрала с каким-то таксистом. Поскольку эта девица жила со мной в одном корпусе, а дома в этот вечер оставалась я одна, именно мне и предстояло его утешить.

В местной кафешке, забравшись в одну из отдельных кабинок, деревянные стены которой были сплошь исписаны и изрезаны сотнями имен, мы пили с ним чашку за чашкой черный кофе и совершенно непринужденно болтали на сексуальные темы.

Этот парень — а звали его Эрик — сообщил мне, насколько отвратительной представляется ему привычка девиц из нашего колледжа лизаться с кем попало под фонарем или в редком здешнем кустарнике до самого отбоя, так что любой прохожий может запросто увидеть это.

Миллион лет эволюции, угрюмо произнес Эрик, и кем же мы остаемся? Самыми настоящими животными.

Затем Эрик поведал мне о своей первой женщине.

У себя на Юге он учился в привилегированной школе, в которой стремились готовить джентльменов в подлинном смысле этого слова. И существовал в этой школе неписанный закон, согласно которому перед ее окончанием полагалось познать женщину. Познать в библейском смысле, уточнил Эрик.

И вот однажды в субботу Эрик с несколькими одноклассниками отправился на автобусе в близлежащий город и посетил там известный публичный дом. Шлюха, доставшаяся Эрику, не удосужилась даже снять с себя платье. Это была жирная баба средних лет, с крашеными волосами, подозрительно толстыми губами и мышинового цвета кожей, и свет она тоже не выключила, поэтому Эрик взял ее под засиженной мухами двадцатипятисвечевой лампочкой, и это было жалкой пародией на то, о чем столько трепались все вокруг.

Это было так скучно, как посещение уборной.

Я возразила ему, что, возможно, если любишь женщину, то это может оказаться не настолько скучным, но Эрик сказал: и в этом случае удовольствие будет отравлено мыслью о том, что эта женщина — такое же точно животное, как все остальные, и поэтому если он полюбит женщину, то никогда не будет с ней спать. А если уж ему приспичит, лучше пойдет к проститутке, нежели станет обременять свою любимую такими грязными делами.

Примерно в это же время я начала думать о том, что Эрик — неплохой кандидат для пересыпа, поскольку опыт у него уже есть и, в отличие от большинства парней, он рассуждает об этом без всякой пошлости. Но потом Эрик прислал мне пространное письмо, в котором извещал, что он, возможно, по-настоящему в меня влюбился, потому что я такая умная и циничная и в то же время у меня такое доброе лицо, самым удивительным образом напоминающее лицо его старшей сестры, — и я поняла, что ничего не выйдет, при таком отношении ко мне он никогда не ляжет со мной в постель, и поэтому написала ему, что, к величайшему сожалению, собираюсь выйти замуж за друга детства.

* * *

Чем больше я размышляла на эту тему, тем сильнее нравилась мне идея быть соблазненной синхронным переводчиком в городе Нью-Йорке. Константин в любом отношении представлялся человеком мужественным и достойным. У нас не было общих знакомых, перед которыми он потом мог бы начать хвастаться примерно так, как парни из колледжей похваляются друг перед другом, перед товарищами по комнате и по баскетбольной команде пересыпчиками на заднем сиденье автомобиля. И некий дополнительный — и приятный — иронический оттенок заключался бы в том, чтобы переспать с человеком, с которым меня познакомила миссис Уиллард. Таким образом на нее косвенно легла бы за это ответственность.

И когда Константин спросил, не угодно ли мне заехать к нему домой и послушать пластинки с записями балалайки, я мысленно улыбнулась и самое себя поздравила. Мать вечно твердила мне, чтобы я ни при каких обстоятельствах, поужинав с мужчиной, не ехала после этого к нему домой, потому что подобный поступок толкуется исключительно однозначно.

— Я без ума от балалайки, — отозвалась я.

Квартира Константина была с балконом. С балкона открывался вид на реку, и нам были слышны гудки пароходов во тьме. Я испытывала нежность, признательность и полнейшую решимость совершить то, что задумала.

Я понимала, что могу забеременеть, но эта опасность оставалась далекой и призрачной и совершенно меня не тревожила. Стопроцентных противозачаточных средств не существует, утверждается в статье, которую моя мать вырезала из «Ридерз дайджест» и прислала мне в колледж. Статья была написана замужней и многодетной женщиной-адвокатом и называлась «В защиту целомудрия».

В ней приводились всевозможные доводы в пользу того, что девушке или молодой женщине не следует спать ни с кем, кроме мужа, да и с ним — только после свадьбы.

Главный тезис статьи заключался в том, что мироощущение мужчины сильно отличается от мироощущения женщины, а его эмоциональный мир — от ее эмоционального мира и единственным средством добиться органического сочетания этих двух миров является законный брак. Моя мать добавила от себя, что именно этого-то девушки и не понимают до тех пор, пока не становится слишком поздно, и поэтому им надлежит прислушиваться к советам знатоков, и прежде всего замужних женщин.

Эта женщина-адвокат утверждала, что лучшие из мужчин хотят сохранять целомудрие до брака, а если уж им это и не удастся, они хотят стать для своих молодых жен учителями в области секса. Разумеется, они стараются убедить девушку вступить с ними в добрачную связь и уверяют, что потом непременно на ней женятся, но стоит ей поддаться, как они моментально теряют к ней всякое уважение и начинают утверждать, что раз уж она пошла на такое с ним, то с тем же успехом могла бы пойти и с любым другим, и в конце концов превращают ее жизнь в сущий ад.

Адвокатесса заканчивала статью словами о том, что лучше побережись, чем потом раскаиваться, и, кроме того, добавляла, что не существует противозачаточных средств, дающих стопроцентную гарантию, а беременность означает уже самую настоящую катастрофу.

Единственным вопросом, не рассмотренным в статье, были чувства самой девушки.

Хорошо, конечно, оставаться целомудренной, пока не выйдешь замуж за столь же целомудренного мужчину, но что, если он затем вдруг признается в том, что не девственен, как это сделал тот же Бадди Уиллард? Мне невыносима была мысль, что женщина обречена на одну-единственную, причем непорочную, жизнь, тогда как мужчина способен вести двойное существование: одно — исполненное целомудрия, а другое — наоборот.

В конце концов я решила, что раз уж так трудно найти интеллигентного молодого человека, который сохранил бы чистоту до двадцати одного года, то я и сама могу оставить всякие мысли, о девственности и выйти в итоге замуж за человека, уже лишившегося невинности точно так же, как я. И тогда, если он начнет превращать мою жизнь в сущий ад, я сумею ответить ему тем же.

В девятнадцать лет девственность стала для меня главной проблемой.

Мир делился для меня не на протестантов и католиков, не на республиканцев и демократов, не на белых и черных и даже не на мужчин и женщин — мир делился на людей, с кем-то уже переспавших, и на людей, еще этого не сподобившихся. И только это как будто и являлось серьезным различием между одним человеком и другим.

И мне казалось, что, стоит переступить через эту черту, и меня ожидают чудесные перемены.

Мне представлялось, что это будет похоже на — тоже пока только воображаемое — путешествие в Европу. И когда я вернусь домой и пристально погляжу в зеркало, я сумею увидеть крошечные белые Альпы в углу собственного глаза. А сейчас мне казалось, будто, когда я гляну в зеркало завтра, в углу моего глаза будет сидеть, улыбаясь мне, крошечный, размером с куколку, Константин.

Что ж, на протяжении примерно часа мы сидели у него на балконе в двух отставленных друг от друга шезлонгах, а между нами стоял проигрыватель и лежала стопка пластинок с записями

балалаечной музыки. На нас лился какой-то слабый молочный свет — то ли уличные фонари, то ли луна, то ли уж не знаю что, — но, если не считать того, что он держал меня за руку, Константин не предпринимал ни малейших попыток обольщения.

Я спросила его, не помолвлен ли он и нет ли у него постоянной подруги, полагая, что причина его холодности может заключаться именно в этом, но он ответил: нет, он старается избегать подобных уз.

В конце концов я почувствовала, как под воздействием этого сладкого вина, которое я выпила, мною овладевает чудовищная дремота.

— Пойду-ка прилягу, — сказала я.

Я направилась прямехонько в спальню и нагнулась снять туфли. Свежезастланная постель маячила передо мной, как спасательная шлюпка. Я вытянулась во всю длину и закрыла глаза. Затем я услышала, как Константин, вздохнув, вошел в спальню с балкона.

Один за другим его башмаки стукнули по полу, и он улегся рядом со мной.

Из-под упавшей на глаза пряди волос я исподтишка посматривала на него.

Он лежал на спине, подложив руки под голову и глядя в потолок. Ослепительно белые рукава его сорочки, закатанные до локтя, призрачно светились во мраке, а его загорелая кожа казалась почти черной. Я подумала, что никого красивей его в жизни своей не встречала.

Я подумала, что обладай я острыми, смелыми чертами лица, или умей рассуждать со знанием дела о политике, или будь знаменитой писательницей, Константин наверняка нашел бы меня достаточно интересной для того, чтобы со мной переспать.

А еще я подумала о том, что стоило бы ему испытать ко мне подлинную привязанность, стоило влюбиться по-настоящему, он сразу же превратился бы в моих глазах в сущую посредственность, как это произошло с Бадди Уиллардом и другими парнями.

Вновь и вновь повторялось одно и то же.

Откуда-нибудь издалека я увижу человека, который покажется мне безупречным, но, как только он подойдет поближе, я начну открывать в нем один недостаток за другим и в конце концов решу, что он вообще никуда не годится.

И это одна из причин, по которой я никогда не выйду замуж.

Менее всего на свете мне хотелось бы испытывать бесконечную безопасность или быть тетивой, с которой спускают какую бы то ни было стрелу. Мне хотелось смены ощущений и треволнений, мне хотелось стрелять и лететь по всем направлениям самой, подобно россыпи цветных огней на фейерверке четвертого июля.

Я проснулась под шум дождя.

Было темно, как в аду. Через некоторое время я сумела разглядеть контуры незнакомого мне окна. Время от времени в помещении вспыхивал луч света, проносился, как призрачный, что-то ищущий палец, по стенам и исчезал.

Затем я услышала рядом с собой чужое дыхание.

Сначала я подумала, что это мое собственное дыхание и что я лежу в своем гостиничном номере, приходя в себя после отравления. Я замерла, но дыхание рядом со мной не смолкло.

На постели возле меня горел зеленый глаз. Он был разделен на какие-то секторы, как компас. Я протянула руку и накрыла его ладонью. Потом подняла его. Вместе с ним поднялась рука, тяжелая, как у мертвеца, но согретая сном.

На хронометре у Константина было три часа ночи.

Сам он лежал в сорочке, брюках и носках — то есть в том же виде, в котором я оставила его, засыпая, и, по мере того как мои глаза привыкали к темноте, я увидела его бледные веки, прямой нос, красиво очерченный и искушённый рот, но все это казалось каким-то ненастоящим, как фигуры, начертанные туманом. На пару минут я склонилась над ним, чтобы рассмотреть

получше. До сих пор мне ни разу не случилось засыпать в одной постели с мужчиной.

Я попыталась представить себе, как бы все выглядело, если бы Константин вдруг оказался моим мужем.

Это означало бы, что мне пришлось бы вставать в семь утра, готовить ему яичницу с ветчиной, тосты и кофе на завтрак, и, после того как он уйдет на работу, мыть за ним посуду, оставаясь в ночной рубашке и в бигуди, подрагивать от холода, убирать постель, — а потом, когда он вернется после интересного, захватывающе интересного дня, ему захочется, чтобы его ждал дома роскошный ужин, и остаток вечера мне придется потратить на то, чтобы еще раз перемыть посуду, и в постель я рухну уже совершенно изможденной.

Такое представлялось ужасной, понапрасну потраченной жизнью для девушки, пятнадцать лет подряд учившейся на круглые пятерки. Но я знала, что брак окажется именно таким, потому что готовкой, стиркой и мытьем только и занималась мать Бадди Уилларда с утра до ночи, а она ведь была женой университетского профессора, да и сама преподавала в частной школе.

Во время одного из моих визитов к ним в дом я увидела, что миссис Уиллард ткет коврик, распустив для этого несколько старых костюмов мистера Уилларда. Она потратила на это несколько недель, и я от всей души восхищалась твидовым узором из коричневых, зеленых и синих нитей, но, закончив работу, миссис Уиллард, вместо того чтобы повесить коврик на стену, как поступила бы на ее месте я, положила его на кухонный пол в качестве подстилки под ноги, и уже через пару дней он стал таким же грязным, неприятным и безликим, как любая дешевка, какую можно приобрести на доллар, причем пяток таких, а то и десятков.

И я понимала, что, несмотря на все эти розы, и поцелуи, и ресторанные угощения, и прочие знаки внимания, которые мужчина выказывает своей избраннице до женитьбы, в глубине души он хочет только того, чтобы все это осталось позади, а его благоверная начала стелиться ему под ноги, как кухонный коврик миссис Уиллард.

Ведь сама же мать рассказала мне, что как только они с отцом в свой медовый месяц уехали из Рено (отец уже был женат, поэтому ему понадобился развод), отец сказал ей: «О Господи, какая радость, что мы можем наконец прекратить что-то из себя строить и станем самими собой». И начиная с этого дня у моей матери не было ни минуты покоя.

И я прекрасно помню, как Бадди Уиллард с циничным видом знатока объявил мне, что, став матерью, я сильно переменюсь и перестану писать стихи. Поэтому мне порой казалось, что выйти замуж и обзавестись детьми — это все равно что подвергнуться промыванию мозгов, и твоя участь будет похожа на судьбу немого раба в некоем приватном, но тем не менее тоталитарном царстве.

Пока я глядела на Константина — а разглядывала я его так, как разглядываешь яркий, но недоступный тебе камешек, лежащий на дне пруда, — его веки приоткрылись, он посмотрел куда-то вдаль, мимо меня, и в глазах его была любовь. Мне пришлось стать свидетельницей того, как по мере узнавания нежность уходила из его взора и широкие зрачки становились стеклянными и плоскими, как дубленая кожа.

Константин сел, зевнул:

— Который час?

— Три, — ответила я плоским голосом. — Поеду-ка я лучше домой. Мне надо быть на работе с утра пораньше.

— Я отвезу вас.

И пока мы сидели спиной друг к другу на двух разных краях кровати, надевая туфли, в чудовищно белом свете его ночной лампы, я почувствовала, что Константин внезапно повернулся ко мне.

— А ваши волосы всегда такие?

— Какие «такие»?

Вместо ответа он коснулся рукою моих волос и медленно провел по ним пальцами, как гребешком. Легкий электрошок прошел у меня по темени, и я затихла. С самого раннего детства я обожаю, чтобы меня причесывали. Это навевает на меня покой и дремоту.

— Ах, вот оно что, — сказал Константин. — Вы их недавно мыли.

И наклонился зашнуровать теннисные туфли. Через час я лежала в гостиничной постели и вслушивалась в шум дождя. Он не походил на шум дождя: казалось, кто-то барабанит пальцами по крыше. Боль в моем левом виске очнулась, и я оставила всякую надежду на то, чтобы заснуть до семи, когда часы с радиосигналом поднимут меня своим радостным ревом.

Каждый раз, когда шел дождь, мой старый перелом отзывался тупой болью в ноге, не давая забыть о себе.

И я подумала: ногу я сломала из-за Бадди Уилларда.

А потом передумала: нет, я сама ее сломала. Я сломала ее в наказание самой себе, за то, что я такая дрянь.

Мистер Уиллард вез меня на своей машине в Адирондак.

Был сочельник, и серое небо плевалось в нас густыми хлопьями снега. Я чувствовала себя переевшей, мрачной и разочарованной, как и каждый сочельник, как будто елка, перевязанные серебряной или золотой ленточкой свечи, подарки, березовые дрова в печи, рождественская индюшка, песенки и игра на фортепиано дали мне обещание никогда не кончаться — и не сдержали его.

На Рождество я всегда жалею о том, что я не католичка.

Сперва за рулем сидел мистер Уиллард, а потом повела машину я. Не помню, о чем мы беседовали, но, по мере того как пейзаж за окном, уже глубоко утонувший в снегу, все сильнее и сильнее подставлял нам черное плечо горного склона, а ели, с двух сторон обступавшие идущую вверх дорогу, становились столь темно-зелеными, что казались черными, я чувствовала себя все мрачнее и мрачнее.

У меня возникло искушение объявить мистеру Уилларду о том, чтобы дальше он ехал один, а я, мол, доберусь назад на попутке.

Но стоило бросить взгляд на мистера Уилларда — на его серебряные волосы, помальчишески расчесанные на пробор, на ясные синие глаза, на румяные щеки — поверх всего этого, как глазурь на пироге, светилось эдакое радостное, невинное и доверчивое выражение, — стоило, повторяю, бросить взор на него — и я понимала, что не смогу обойтись с ним таким образом. Этот визит мне предстояло претерпеть до самого конца.

К полудню несколько распогодилось, и мы устроили привал на обледеневшей обочине. Мистер Уиллард припас на ленч сэндвичи с тунцом, пироги, яблоки и термос с черным кофе. Разумеется, все это приготовила миссис Уиллард.

Мистер Уиллард кротко и нежно посмотрел на меня. Затем прочистил горло и стряхнул несколько крошек с коленей. Я могла побиться об заклад, что он собирается поведать мне нечто важное, потому что он был по природе своей крайне робок, и мне доводилось слышать, как он аналогичным образом прочищает горло перед началом важной лекции по экономике.

— Нам с Нелли всегда хотелось иметь дочь.

На какое-то безумное мгновение я решила, будто он сейчас объявит мне, что миссис Уиллард беременна и ждет девочку. Но тут он добавил:

— Но я не могу себе представить, какая дочь могла бы быть лучше, чем ты.

Мистер Уиллард, должно быть, решил, будто я плачу от радости из-за того, что он хочет стать мне отцом. Он похлопал меня по плечу, пробормотал: «Ну, будет, будет» — и еще пару раз прочистил горло.

— Полагаю, что мы с тобой понимаем друг друга.

Потом он открыл свою дверцу, вылез из машины и подошел к моей. Его дыхание подавало причудливые паровые сигналы в морозном воздухе. Я перелезла на освобожденное им сиденье, он сел за руль, и мы поехали дальше.

Не знаю, чего, собственно, я ждала в этом санатории. Кажется, я рассчитывала найти здесь деревянные шале, усеявшие склон невысокой горы, розовощеких юношей и девушек самой привлекательной наружности, хотя и с лихорадочно поблескивающими глазами, которые лежали бы на террасах, укрытые толстыми одеялами.

«Туберкулез вроде бомбы у тебя в легком, — написал мне Бадди в колледж. — Надо просто лежать тихонько и надеяться, что эта бомба не взорвется».

Мне трудно было представить себе Бадди тихонько лежащим. Вся его жизненная

философия базировалась на постоянной и непрерывной активности. Даже придя летом на пляж, он никогда не ложился позагорать и подремать на солнышке, как поступала я. Он совершал пробежки вдоль берега, или играл в волейбол, или фотографировал меня — только чтобы не терять времени даром.

Нам с мистером Уиллардом пришлось подождать в приемной, пока не кончится тихий час.

Цветовые решения в этом санатории восходили почему-то исключительно к колеру печени. Темное, тускло поблескивающее дерево, кожаные кресла цвета выжженной земли, стены, некогда бывшие, возможно, белыми, а сейчас, под воздействием пара, человеческого дыхания и лекарств, приобретшие бурый оттенок. Истрепанный бурый линолеум на полу.

На низком кофейном столике, поверхность которого была в круглых и полукруглых разводах, лежало несколько потрепанных номеров «Тайм» и «Лайф». Я потянулась к одному из журналов. Лицо Эйзенхауэра, улыбаясь, уставилось на меня оттуда, бледное и голое, как лицо младенца в банке.

Через некоторое время я начала воспринимать какой-то слабый и текучий шум. Примерно минуту я думала, что это из стен принялась сочиться накопившаяся в них сырость, но потом увидела в дальнем конце помещения небольшой фонтанчик.

Вода этого фонтанчика вздымалась из ржавой трубки на несколько дюймов вверх, разбивалась там на две струи и с глухим плеском падала в переполненную желтоватой жидкостью чашу. Чаша была белого цвета и овальной формы и наводила на мысль об общественном туалете.

Зазвенел звонок. В глубине здания начали открываться и закрываться двери. Появился Бадди:

— Привет, папа.

Бадди похлопал отца по плечу и сразу же, с чудовищно ослепительной улыбкой, направился ко мне и протянул руку. Я пожалала ее. Она была на ощупь влажной и жирной.

Мы с мистером Уиллардом сидели на кожаном диване. Бадди сел на краешек кресла прямо напротив нас. Он непрерывно улыбался, словно уголки его губ были подтянуты вверх на невидимой проволоке.

Меньше всего я ожидала увидеть его таким толстым. Каждый раз, когда я представляла его себе в санатории, я видела впалые щеки и глаза, горящие на совершенно изможденном лице.

Но все это сбылось с точностью до прямо противоположного. Под белой нейлоновой сорочкой у Бадди проступал порядочный животик, а щеки его были круглы и румяны, как марципаны. Даже в его смехе чудилось что-то жирное.

Бадди перехватил мой взгляд:

— Это все от кормежки. Нас кормят на убой, а потом велят лежать и не шевелиться. Но сейчас мне уже разрешены прогулки, так что не беспокойся. Через пару недель я похудею. — Он вскочил на ноги, улыбаясь, как радушный хозяин. — А не хочешь ли поглядеть, как я живу?

Я пошла следом за ним, а мистер Уиллард — следом за мной сквозь несколько вращающихся дверей из дымчатого стекла, по печеночного цвета коридору, пахнущему мастикой, лизолом и еще чем-то вроде увядших гардений.

Бадди распахнул перед нами бурую дверь, и мы очутились в тесной комнатухе.

Жалкое ложе, застланное тонким белым покрывалом в синюю полосу, занимало большую часть пространства. Рядом с ним находился ночной столик, на котором стояли кувшин, стакан и серебряный сучок термометра во флакончике с красным дезинфектантом. Второй стол, усеянный книгами, бумагами и какими-то глиняными изделиями (слеplенными, обожженными и раскрашенными, но не отглазуrowанными), едва втиснулся между изножьем кровати и дверцей шкафа.

— Что ж, — начал мистер Уиллард, — ты хорошо устроился.

Бадди весело рассмеялся.

— А это что такое? — Я указала на глиняную пепельницу в форме лилии, расписанную зеленым с желтыми прожилками. Бадди не курил.

— Это пепельница. Это для тебя.

Я оттолкнула ее:

— Я же не курю.

— Я знаю. Но я подумал, что тебе это все равно понравится.

— Ну что ж. — Мистер Уиллард потер одной бумажной губой о другую. — Думаю, мне пора. Вам, молодые люди, хочется побыть вдвоем...

— Отлично, отец. Тебе действительно пора.

Я пришла в замешательство. Я думала, что мистер Уиллард заночует здесь, а наутро отвезет меня домой.

— А мне с вами тоже?

— Нет-нет, что ты! — Мистер Уиллард достал из бумажника несколько купюр и протянул их Бадди. — Позаботься о том, чтобы Эстер досталось в поезде хорошее место. Она задержится на день или подольше, не знаю.

Бадди проводил отца до ворот.

Я решила, что мистер Уиллард предал меня. Я подумала, что он запланировал все это заранее, но Бадди сказал, дело не в этом, просто его отец не выносит вида болезни, особенно когда болеет его собственный сын, потому что ему кажется, что все болезни — это всего лишь проявления слабоволия. Мистер Уиллард не болел ни разу в жизни.

Я села на кровать Бадди. Здесь просто некуда было больше сесть.

Бадди с деловитым видом рылся в своих бумагах. Затем извлек тонкий журнал в серой обложке и протянул его мне.

— Открой на одиннадцатой странице.

Журнал выходил где-то в штате Мэн и был полон ученическими стихотворениями и прозаическими фрагментами, отделенными друг от друга звездочками. На странице одиннадцать я обнаружила стихотворение под названием «Вниз по Флориде». Я лениво проглядела все эти метафоры относительно арбузных огней и черепахово-зеленых пальм и раковин, поющих, как руины древней Эллады.

— Недурно.

Хотя на самом деле я нашла стихотворение ужасающим.

— А как ты думаешь, кто это написал?

На губах у Бадди играла причудливая голубиная улыбка.

Мой взгляд упал туда, где под стихотворением было выведено имя автора — Б. С. Уиллард.

— Не знаю, Бадди. Хотя нет, конечно же, знаю. Ты его написал.

Бадди подсел ко мне.

Я отсела чуть в сторону. Я крайне плохо представляла себе, что такое туберкулез, но он казался мне чрезвычайно опасным заболеванием — и чрезвычайно гнетущим, потому что у него не было никаких внешних проявлений. Я вполне могла допустить, что вокруг Бадди витают совершенно убийственные микробы.

— Не беспокойся, — засмеялся Бадди, — я не заразный. У меня закрытая форма.

— Закрытая форма?

— Это значит, что я никого не могу заразить.

Бадди перевел дыхание, как посредине какого-нибудь крутого подъема.

— Мне хочется задать тебе один вопрос.

У него появилась новая и пренеприятная привычка буквально сверлить меня взглядом, словно ему хотелось вгрызться мне в мозг и посмотреть, что там происходит.

— Сперва я хотел задать его в письме.

Перед моим мысленным взором пронеслось слабое видение бледно-голубого конверта с крестом Йейля.

— Но потом я решил, что будет лучше дождаться, пока ты сюда приедешь, и задать его тебе в лицо. — Он сделал паузу. — Ну что ж, разве тебе не интересно узнать, что это за вопрос?

— А что это за вопрос?

Тон моего голоса не сулил ему ничего хорошего.

Бадди опять подсел ко мне. Он обвил рукой мою талию и стряхнул у меня с уха прядку волос. Я не шевелилась. И тут услышала его шепот:

— Как ты отнесешься к тому, чтобы стать миссис Бадди Уиллард?

Я с трудом удержалась, чтобы не расхохотаться.

Я подумала о том, как восхитил и потряс бы меня этот вопрос в течение всех пяти или шести лет, на протяжении которых я обожала Бадди Уилларда издалека.

Бадди заметил, что я колеблюсь.

— Ну да, понимаю, я сейчас еще в неважной форме, — зачастил он. — Мне предстоит операция, и, возможно, я лишусь одного-двух ребер, но уже следующей осенью я вернусь в Высшую медицинскую школу. И самое позднее через год, начиная с этой минуты...

— Полагаю, мне надо тебе, Бадди, кое-что объяснить.

— Понятно, — напрягшись, произнес Бадди. — Ты кого-то себе завела.

— Нет, дело не в этом.

— А в чем же?

— Я собираюсь никогда не выходить замуж.

— Ты спятила. — Бадди явно повеселел. — Но ты еще переменишь свое решение.

— Нет. Я решила совершенно твердо.

Но Бадди уже не мог скрыть своей радости.

— Помнишь, — сказала я, — как мы добирались на попутках ко мне в колледж однажды вечером?

— Помню.

— А помнишь, как ты спросил меня, где бы я предпочла жить — в городе или в деревне?

— А ты ответила...

— А я ответила, что хочу жить и в деревне, и в городе. И там, и тут сразу.

Бадди кивнул.

— А ты, — продолжила я с неожиданной яростью, — засмеялся и сказал, что у меня все признаки неврастения и что этот вопрос ты почерпнул из психиатрической анкеты, которую вы проходили на прошлой неделе.

Улыбка на губах у Бадди стала заметно скучней.

— Так вот, ты был тогда прав. Я действительно неврастеничка. Я никогда не смогу сделать выбор между городом и деревней.

— Но ведь можно обосноваться посередине, — поспешил мне на помощь Бадди. — И тогда можно будет иногда ездить в деревню, а иногда — в город.

— Ну, и что же в этом неврастенического?

Бадди помолчал.

— Ну, я слушаю тебя!

И, наседая на него, я подумала: нельзя баловать больных, они этого не выдерживают, это губит их окончательно.

— Ничего, — еле выдавил из себя Бадди.

— Неврастеничка, — презрительно расхохоталась я. — Если желать одновременно двух взаимоисключающих вещей означает неврастению, что ж, ладно, тогда у меня неврастения. Потому что до конца своих дней я намерена метаться от одной такой вещи к другой.

Бадди накрыл мою руку своей.

— Давай метаться вдвоем.

* * *

Я смотрела вниз, на лыжный спуск. Я стояла на вершине горы. Делать мне было совершенно нечего. Я никогда в жизни не ходила на лыжах. Но почему бы не полюбоваться пейзажем, раз уж такая возможность представилась.

Слева от меня один за другим, обхватив веревочную петлю рукой, поднимались лыжники. Накатанная ими и чуть подтаявшая на полуденном солнце лыжня превратилась в лед. И блестела она, как стекло. Холодный воздух пронизывал мои легкие, но придавал чрезвычайную дальновзоркость.

Справа и слева от меня вниз по склону неслись лыжники, кажущиеся в своих красных, синих и белых куртках клочьями американского флага. Из деревянной будки, сколоченной в самом низу, доносились, перекрывая здешнее безмолвие, популярные мелодии:

В нашем домике вдвоем
Мы премиленько живем...

Следы моих лыжных палок казались невидимым ручейком в снежной пустыне. Одно неверное или чересчур беспечное движение — и я сорвусь и полечу вниз по склону навстречу тому пятнышку цвета хаки, видневшемуся в шеренге зрителей, которое было Бадди Уиллардом.

Все утро Бадди Уиллард учил меня кататься на лыжах.

Для начала он одолжил для меня лыжи и палки у одного своего приятеля, а лыжные ботинки — у жены своего лечащего врача, нога у которой была всего лишь на один размер больше моей, а красную лыжную куртку — у какой-то студентки. Его настойчивость в ответ на мое угрюмое, хотя и безмолвное, сопротивление была просто поразительна.

И тут я вспомнила, что в своей Высшей медицинской школе Бадди был удостоен награды за ту настойчивость, с которой он уговаривал родственников умерших согласиться на вскрытие независимо от того, были к этому объективные показания или нет, — исключительно в интересах науки. Я забыла, в чем именно заключалась эта награда, но так и вижу Бадди в его белом халате, со стетоскопом, торчащим из бокового кармана и кажущимся частью его тела, так и вижу, как он улыбается, и кланяется, и убеждает убитых горем людей подписать соответствующие бумаги.

Затем Бадди одолжил машину все у того же доктора, который когда-то сам переболел туберкулезом и был поэтому весьма чуток, и мы отъехали, как только зазвенел, возвещающий о начале часа прогулок, санаторский звонок.

Бадди и сам никогда не ходил на лыжах, но сказал мне, что дело это в принципе крайне простое, а поскольку ему не раз доводилось наблюдать за тем, как лыжные инструкторы обучают новичков, он и сам сумеет показать мне все, что требуется.

Первые полчаса я добросовестно взбиралась по миниатюрному склону изо всех сил

отталкиваясь палками, а затем честно съезжала вниз. Бадди, казалось, чрезвычайно радовали мои успехи.

— Чудесно, Эстер, — объявил он после моего двадцатого спуска. — А теперь попробуем вон с той горы.

Я сбилась с шага, покраснела и чуть не рухнула наземь.

— Но, Бадди, я ведь еще не умею ходить на лыжах зигзагом. Все, кто спускается с этой вершины, умеют ходить зигзагом!

— Да тебе и съезжать-то придется только до половины дистанции. А дальше лыжи сами понесут тебя.

И Бадди препроводил меня к подъему, показал, как вдеть руку в веревочную петлю, велел обхватить ее пальцами и начать подъем.

Мне почему-то не пришло в голову отказаться.

Я обхватила пальцами грубую, резко саднящую на ощупь веревку, так и норовящую из них вырваться, и решила начать подъем.

Но веревка поволокла меня, качая из стороны в сторону с такой быстротой, что я и думать не посмела о том, чтобы отпустить ее на середине дистанции. Передо мной шел лыжник, и следом за мной шел лыжник, и в ту же минуту, как я отпущу веревку, меня опрокинут и забьют лыжами и палками, а затевать такой кавардак мне совсем не хотелось, поэтому я поднялась до самого верха.

И только там, наверху, хорошенько призадумалась.

Бадди снизу вычислил меня по красной куртке и понял, что я колеблюсь. Его руки метались в воздухе, как мельничные ветряки цвета хаки. И тут я осознала, что он призывает меня воспользоваться освободившейся лыжней. Но пока я, с пересохшим горлом и в полном смятении, не знала, с чего начать, белая тропа, ведущая к нему, расплылась у меня перед глазами.

Лыжник заступил на нее слева, другой лыжник заступил на нее справа, и руки Бадди лихорадочно трепетали в отдалении, как антенны, облепленные какими-то крупными насекомыми, вроде стрекоз, или как два разволновавшихся от собственных призывов восклицательных знака.

Спуск передо мной образовывал некое подобие амфитеатра. И я поверх него посмотрела вдаль.

Огромный серый глаз неба был обращен ко мне, затянутое пеленой тумана солнце сфокусировало все свои белые и молчаливые дали, обступившие и теснившие меня с четырех сторон: холмы, и холмы, и холмы — сфокусировало их на тесном пятачке у меня под ногами.

Внутренний голос убеждал меня не быть идиоткой, спасти собственную шкуру, снять лыжи и пешком сойти вниз, хоронясь в тени растущих по склону елей, — упорхнуть отсюда, подобно перепуганному комару. Мысль о том, что я могу разбиться насмерть, сформировалась во мне и бесстрастно произроста, как дерево или цветок.

Я прикинула на глазок расстояние, отделявшее меня от Бадди.

Теперь он стоял, сложив руки на груди, и, казалось, успокоился. У него за спиной была загородка из чего-то типа железнодорожных шпал — безмолвная, коричневая и ровным счетом ничего не значащая.

Подойдя к самому краю спуска, я вонзила наконечники палок в снег, оттолкнулась и пустилась в полет, который, как я понимала, мне не дано было прервать ни мастерством, ни предельным усилием воли.

Я полетела как стрела.

Поднявшийся между тем встречный ветер ударил меня по губам и разметал в

горизонтальной плоскости мои волосы. Я спускалась, но белое солнце почему-то не трогалось с места, не поднималось ни на дюйм. Оно висело над волнистой грядой холмов — не знающий старости поводырь, без которого наш мир давно бы оказался в бездне.

И нечто крошечное, но отзывчивое в глубине моего собственного тела рванулось навстречу ему. Я ощутила, как мои легкие переполняет восторг сущего, восторг наслаждения этим великолепием — воздуха, гор, деревьев, людей. Я подумала: «Вот что такое счастье».

Я проскочила мимо спускавшихся зигзагом лыжников, мимо новичков и экспертов, я проскочила долгие годы сомнений, сконфуженных улыбок и компромиссных решений. Я полетела в свое прошлое.

Люди и деревья по обе стороны от меня казались темными сводами туннеля, а я рвалась на яркий и ровный свет в самом конце его, рвалась, словно к камешку на дне пруда, словно к белому и славному младенцу в глубине материнской утробы.

На зубах у меня скрипело нечто вроде гравия. Ледяная слюна струилась по горлу.

Лицо Бадди зависло надо мной, огромное и безобразное, как сорвавшаяся со своей орбиты планета. Чуть поодаль были видны и лица других людей. На чистой белизне ландшафта за спиной у Бадди чернели какие-то пятна. Один за другим, подобно ударам старинных часов моей крестной, фрагменты мира приходили, возвращались на прежние места, мир понемногу становился узнаваемым и знакомым.

— Ты держалась молодцом, — прошептал мне на ухо такой знакомый голос. — Пока тебе не заступили лыжню, ты держалась молодцом.

У меня отстегивали лыжи, с земли подбирали мои лыжные палки, пропахавшие каждая сама по себе свою борозду. У меня за спиной высился деревянный забор.

Бадди снял с меня ботинки и несколько пар белых шерстяных носков, поддетых снизу. Его жирная рука ощупала мне ступню левой ноги, затем лодыжку, она перемещалась осторожно и неторопливо, словно в поисках припрятанного оружия.

Безучастное белое солнце стояло в зените. Мне хотелось понежиться на нем, пока я не стану чистой, тонкой и острой, как лезвие ножа.

— Я пойду наверх, — сказала я. — Я хочу попробовать еще разок.

— Нет, тебе нельзя.

Лицо Бадди скривилось, но на нем можно было прочесть выражение глубочайшего удовлетворения.

— Нет, тебе нельзя, — повторил он, улыбаясь, как при разговоре с приговоренной к смерти. — У тебя двойной перелом ноги. Тебя положат в гипс на долгие месяцы.

— Я так рада, что их казнят.

Кошачью мордочку Хильды искажил зевок. Она положила голову на руки и заснула. Пук зеленой, как желчь, соломы торчал у нее из волос и казался какой-то экзотической птицей.

Цвет зеленый, как желчь. Специалисты предсказывали, что он войдет в моду только осенью, но Хильда, как всегда, на полгода опережала события. Зеленый, как желчь, плюс черный; зеленый, как желчь, плюс белый; зеленый, как желчь, плюс бледно-зеленый — такова была теперь ее цветовая гамма.

Рекламные тексты, серебряные и ничтожные, распускали у меня в мозгу свои рыбки пузыри. Они всплывали на поверхность с пустым всплеском.

Я так рада, что их казнят.

Я проклинала провидение за то, что время моего посещения гостиничного кафе совпало с Хильдиным. После почти бессонной ночи я была слишком тупа, чтобы изобрести какой-нибудь повод смыться, скажем за перчатками, носовым платком, зонтиком или записной книжкой, забытыми в номере. И наказанием за это стала долгая, смертельно скучная прогулка вдвоем с нею от дымчато-стеклянных дверей гостиницы до землянично-мраморных ворот здания на Мэдисон-авеню.

Всю дорогу Хильда казалась мне ходячим манекеном.

— Какая милая шляпка! Это ты сама ее смастерила?

Мне хотелось, чтобы Хильда, повернувшись ко мне, воскликнула: «Да ты что, спятила?» — но вместо этого она всего лишь выгнула, а потом вновь распрямила свою лебединую шею.

— Сама.

Накануне вечером я была на спектакле, героиня которого, одержимая дьяволом, говорила таким глубоким и низким голосом, что нельзя было догадаться, принадлежит ли он женщине или мужчине. Что ж, голос Хильды звучал точь-в-точь так же.

Она заглядывалась на собственное отражение в каждой зеркальной витрине, мимо которой мы проходили, словно бы затем, чтобы каждую минуту получать подтверждение, что она на самом деле существует на свете. Молчание, владевшее нами, было настолько глубоким, что частичную ответственность за него несла, должно быть, и я сама.

И поэтому я сказала:

— Какая это страшная история с Розенбергами.

Розенбергов должны были казнить в тот же вечер.

— Да! — воскликнула Хильда, и мне показалось, что в ней в конце концов проснулось что-то человеческое, что мне удалось затронуть живую струнку в кошачьей колыбели ее сердца. В момент, когда Хильда произнесла свое «да», мы уже находились в мрачном, как склеп, хотя и залитом утренним светом, конференц-зале, но по-прежнему оставались вдвоем, дожидаясь прихода остальных.

— Страшно, что такие люди живут на свете.

И тут она зевнула, и в ее бледно-оранжевом рту открылась огромная темная пропасть. Как загипнотизированная, я уставилась туда и не могла отвести взгляда, пока губы не сомкнулись и дьявол, прячущийся в глубине ее тела, не заговорил вновь:

— Я так рада, что их казнят.

— А ну-ка, улыбнитесь!

Я сидела на красном бархатном канapé в офисе у Джей Си, держа в руке бумажную розу и позируя журнальному фотографу. Снимали всю нашу дюжину по очереди, и я была последней. Я пыталась спрятаться в дамской уборной, но это не сработало. Бетси углядела мои ноги под дверью кабинки.

Я не хотела фотографироваться, потому что боялась разрыдаться. Я не знала, почему мне хочется разрыдаться, но понимала, что стоит кому-нибудь заговорить со мной или просто посмотреть на меня чересчур внимательно — и слезы сами хлынут у меня из глаз, а рыдания вырвутся из горла, и я не смогу успокоиться целую неделю. Я уже чувствовала, как слезы булькают и трепещут во мне, словно вода в неровно установленном и налитом до краев стакане.

Это были последние съемки перед отправкой журнала в печать, равно как и перед нашим возвращением в Талсу, Билокси, Тинек, Кус-Бэй и прочие милые места, откуда мы прибыли, и нам предстояло сфотографироваться с предметами, представляющими собой символические обозначения того, чему каждая из нас решила посвятить свою жизнь.

Бетси сфотографировалась с колосом пшеницы, чтобы показать, что она хочет стать женой фермера, а Хильда — с лысым и безликим муляжом человеческой головы, чтобы показать, что она хочет делать шляпки, а Дорин взяла в руки шитое золотом сари, чтобы показать, что она хочет оказывать социальную помощь жителям Индии (чего она, как сама же сообщила мне, совершенно не хотела, а стремилась лишь сфотографироваться с этим сари в руках).

Когда меня спросили о том, кем я хочу быть, я ответила, что не знаю.

— Да бросьте, конечно же, вы это знаете, — сказал фотограф.

— Она, — едко сказала Джей Си, — хочет стать всем на свете сразу.

Тогда я заявила, что хочу стать поэтессой.

И они принялись спорить о том, что мне в таком случае следует вручить.

Джей Си предложила дать мне в руки сборник стихотворений, но фотограф сказал, что это будет слишком плоско. Необходимо что-нибудь, что могло бы означать источник вдохновения. И наконец Джей Си вынула бумажную розу на длинном стебле из своей впервые надетой сегодня шляпки.

Фотограф засуетился со своей лампой-вспышкой:

— Покажите-ка, какое счастье вам доставляет сочинение стихотворений.

На окошке в офисе стояли горшки с каучуковыми деревьями. Поверх них я поглядела на синее небо. Справа налево по нему медленно скользили легкие, но пушистые облака. Я принялась следить за самым большим из них, словно, когда оно исчезнет за горизонтом, мне повезет настолько, что я смогу исчезнуть вместе с ним.

Мне казалось чрезвычайно важным держать губы плотно сжатыми.

— Ну улыбнитесь же.

В конце концов мой рот начал медленно разъезжаться, как губы чревоушателя.

— Да нет, — запротестовал фотограф, внезапно проявив пронизательность. — Вы выглядите так, словно вот-вот расплачетесь.

И здесь мне уже ничего не могло помочь.

Я уткнулась лицом в красную бархатную обивку канapé и с бесконечным облегчением почувствовала, что соленые слезы и жалкие всхлипы, переполнявшие меня весь этот день, вырвались наружу и растеклись по комнате.

Когда я сумела поднять голову, фотографа в офисе уже не было. Исчезла куда-то и Джей Си. Я чувствовала себя отвратительной и в то же время обманутой, как кожа, которую сбросило с себя какое-нибудь мерзкое чудище. Хорошо, конечно, было освободиться от этого чудища, но, исчезнув, оно забрало с собой мою душу. Да и не только ее, а все, на что ему удалось наложить

лапы.

Я принялась рыться в сумочке, ища золоченую коробочку с тушью, тенями, щеточкой, тремя сортами помады и боковым зеркальцем. Лицо, глянувшее на меня из зеркальца, словно смотрело на мир из тюремной камеры, причем казалось, что узницу только что жестоко избили. Оно заплыло, было все в ссадинах, и притом совершенно неестественного цвета. Это было лицо, взывавшее к воде, и к мылу, и к христианскому милосердию.

Я малодушно начала приводить его в порядок.

Приличное время спустя в кабинет вернулась Джей Си. В руках у нее была целая охапка машинописных текстов.

— Вот, — сказала она, — позабавься. Почитай на здоровье.

Каждое утро снежная лавина рукописей наметывала седые сугробы в офисе редакции художественной литературы. Должно быть, люди тайком предавались сочинительству по всей Америке — на чердаках, и в подвалах, и даже за школьными партами. Допустим, каждую минуту кто-то один из них заканчивал очередное сочинение — тогда в течение пяти минут на столе у редактора появлялось пять новых рукописей. За час их накапливалось шестьдесят; места на столе для них уже не находилось, и они складывались стопками на полу. А за год...

Я улыбнулась, представив себе, как по воздуху поплыла изящно оформленная рукопись с именем Эстер Гринвуд, напечатанным в правом верхнем углу. Прожив месяц в Нью-Йорке, я рассчитывала затем принять участие в занятиях летней школы, проводимых известным писателем. Для этого необходимо было послать на конкурс рассказ; писатель прочитывал его и определял, достойны ли вы сотрудничать в его семинаре. Разумеется, число участников должно быть крайне мало, и я послала на конкурс рассказ уже давным-давно, а писатель все еще не давал знать о своем решении, но я была абсолютно убеждена в том, что, вернувшись домой, найду приглашение в летнюю школу у себя на письменном столе.

Я решила разыграть Джей Си, послав ей парочку рассказов, которые я напишу во время занятий в этой школе, понятно, под псевдонимом. И тогда однажды редактор редакции художественной литературы придет к ней, со стуком опустит на стол стопку моих рассказов и заявит: «Вот нечто заметно выше среднего уровня», и Джей Си согласится с его мнением, и примет рассказы к печати, и пригласит автора на ленч, и этим автором окажусь я.

* * *

— Да нет, — сказала Дорин, — честно: это совершенно другой случай.

— Расскажи мне о нем, — неумолимо произнесла я.

— Он из Перу.

— Они там все низкорослые. И уродливые.

— Нет-нет, дорогая. Я его уже видела.

Мы сидели с ней у меня на постели посреди грязных хлопчатобумажных платьев, нейлонового и фланелевого нижнего белья, и уже на протяжении десяти минут Дорин пыталась убедить меня поехать в загородный клуб на танцы с кем-то из приятелей одного из приятелей Ленни, который, на чем она настаивала, самим приятелям Ленни был не чета, но, поскольку на следующее утро мне предстояло уезжать восьмичасовым поездом, я считала необходимым предпринять попытку собрать вещи.

И еще во мне жила туманная надежда на то, что, если я посвящу всю свою последнюю ночь в Нью-Йорке одинокой прогулке по улицам, мне, возможно, в конце концов откроются какие-то настоящие тайны города и хотя бы крупницы его подлинного величия.

Но, конечно же, я сдалась.

В эти последние дни мне становилось все трудней принять какое бы то ни было конкретное решение.

А когда я в итоге принимала его, то не доводила дело до конца — вот как, например, сейчас решила собрать чемодан — я всего лишь вытащила свои некрасивые и дорогие наряды из шкафа и из комода, раскидала их по кровати, по креслу и по полу, а затем уселась и принялась смотреть на них с полнейшим недоумением. Казалось, каждый из них обладает какой-то отдельной и по-ослиному упрямой индивидуальностью, решительно противящейся стирке и утюжке.

— Все дело в этих тряпках, — объяснила я Дорин. — Я вернусь, а они тут накиданы.

— Ну, это-то пустяки.

И со своей всегдашней, исполненной изящества азартностью Дорин начала подбирать мои трусики, чулки и изысканные — без бретелек — лифчики (дар компании по производству корсетов, которым я, однако же, так и не посмела воспользоваться), а затем и, одно за другим, печальную вереницу моих безобразно пошитых платьев по сорок долларов за штуку...

— Эй, послушай-ка. Вот это не надо. Я его надену!

Дорин извлекла из охапки платьев нечто причудливое, черное и швырнула мне на колени. А затем, скатав все остальное в мягкий шар, похожий на гигантский снежок, запихала его с глаз долой под кровать.

* * *

Дорин постучала в зеленую дверь с золоченой ручкой.

Изнутри послышался шорох и сразу же оборвавшийся мужской смех. Затем высокий юноша в рубашке с засученными рукавами приоткрыл дверь и выглянул. Его золотистые волосы были расчесаны на пробор.

— Детка! — заорал он что есть мочи.

Дорин утонула в его объятиях. Я подумала, что это, наверно, и есть приятель Ленни.

Я тихо стояла у дверей в моем черном панцире и черной накидке. Мое лицо было еще желтей, чем обычно, а ожидала я на этот раз еще меньшего, чем всегда. «Я всего лишь наблюдательница», — твердила я себе, глядя, как высокий блондин провел Дорин в квартиру и представил другому мужчине, столь же высокому, но смуглому и со сравнительно длинными волосами. Этот брюнет был одет в безукоризненно белый костюм и бледно-голубую рубашку с желтым шелковым галстуком. Галстук был заколот яркой булавкой.

Я не могла отвести взгляда от этой булавки.

Казалось, от нее исходил какой-то свет, озарявший все помещение. Затем свет свернулся в одну точку, заблиставшую каплей росы на золотом фоне.

Я переступила с ноги на ногу.

— Это бриллиант, — сказал кто-то из них, и вся компания сразу же расхохоталась.

Я коснулась ногтем стеклянного камешка.

— Она впервые в жизни видит бриллиант.

— Подари ей его, Марко.

Марко поклонился и втиснул булавку мне в руку.

Свет играл в ней, и была она тяжела, как кубик льда. Я быстро убрала ее в бальную сумочку с отделкой из черного гагата и огляделась по сторонам. Лица присутствующих были пусты, как тарелки, казалось, никто сейчас не дышал.

— К счастью, — сухая и жесткая рука взяла меня за плечо, — я ухаживаю за дамой весь этот вечер. И, может быть, — искры в глазах у Марко погасли, и сразу стало видно, какие они черные, — я кое-что получу...

Кто-то опять рассмеялся.

— Взамен утраченного бриллианта.

Рука сдавила мое плечо.

— Ой!

Марко убрал ее. Я посмотрела себе на плечо. На нем алел отпечаток большого пальца Марко. А он следил за моими движениями. Затем показал на предплечье с внутренней стороны:

— Теперь погляди сюда.

Я поглядела и увидела четыре отпечатка его пальцев.

— Это доказательство того, что я не шучу.

Мелкозубая и какая-то летучая ухмылка Марко напомнила мне о змее, которую я дразнила в зоопарке Бронкса. Когда я принялась барабанить пальцем по стеклу вольера, змея открыла свою похожую на адскую машину пасть и тоже заулыбалась. А затем принялась биться о невидимую преграду — и не прекратила этого занятия, пока я не убрала руку.

До тех пор я еще ни разу не встречалась с женоненавистниками.

Я поняла, что Марко — женоненавистник, потому что на протяжении всего этого вечера он не обращал никакого внимания на манекенщиц и старлеток с телевидения, которых там было полным-полно, и занимался исключительно мной. Не по доброте душевной и даже не из любопытства, а потому что я оказалась у него под рукой, как карта, полученная на сдаче из колоды, полной совершенно одинаковых карт.

* * *

Музыкант в загородном клубе поднес микрофон ко рту и перешел к тем скребущим и царапающим душу ритмам, которые слышат латиноамериканской музыкой.

Марко хотел было взять меня за руку, но я сосредоточилась на своем четвертом дайквири. Я никогда не пила дайквири до сих пор. И единственной причиной, по которой я пила его сегодня, было то, что Марко заказал его для меня, а я почувствовала такое облегчение, что он не спросил, какой напиток я предпочитаю, что и не вздумала возразить, а напротив, принялась пить один бокал за другим.

Марко посмотрел на меня.

— Нет.

— Что значит «нет»?

— Я не танцую под такую музыку.

— Не валяй дурака.

— Мне хочется посидеть и допить мой дайквири.

Марко, напряженно улыбнувшись, перегнулся ко мне, и — раз! — мой бокал, словно обретя крылья, очутился у него в руке. И тут же он схватил меня за руку с такой силой, что едва не оторвал ее.

— Это танго. — Марко провел меня между танцующими в центр зала. — Мне нравится танго.

— Я не умею танцевать.

— Тебе и не придется танцевать. Танцевать буду я.

Марко обвинил меня рукой за талию и прижал всем телом к своему ослепительно белому

костюму. Затем пояснил:

— Представь себе, что ты тонешь.

Я закрыла глаза, и музыка обрушилась на меня, как тропический ливень. Нога Марко скользила вперед, прижимаясь к моей, и моя нога отвечала на это, и я словно бы стала частью его, двигаясь вослед тому, как двигался он, ничего не зная, и не решая, и зная не желая, и через какое-то время я подумала: «Танцует не пара, а кто-то один. Вернее — пара, ставшая единым целым». И я позволила себе гнуться и трепетать, как дерево на ветру.

— Ну, а что я тебе говорил? — Дыхание Марко обожгло мне ухо. — Ты вполне прилично танцуешь.

Я начала догадываться, почему женоненавистники умеют повергать женщин в такой трепет. Женоненавистники подобны богам: они неуязвимы и преисполнены неодолимой силы. Они спускаются с небес, а затем исчезают. Их никогда невозможно удержать.

После латиноамериканской музыки был объявлен перерыв.

Марко провел меня через веранду в сад. Огни и голоса остались там, в танцевальном зале, а здесь воздвигала свою баррикаду глухая тьма. Ярко сияли звезды, а деревья и кусты источали холодные ароматы. Луны на небе не было.

Мы прошли через какую-то калитку и закрыли ее за собой. Перед нами простиралась пустынная площадка для гольфа, а за ней — несколько деревьев, растущих на небольшом холме, и я почувствовала, что вся обстановка в своей заброшенности мне бесконечно знакома: загородный клуб, танцевальный зал и сад с одним-единственным сверчком.

Не знаю, где точно мы находились, но это был один из богатых пригородов Нью-Йорка.

Марко достал тонкую сигару и серебряную зажигалку в форме пули. Он вставил сигару в рот и щелкнул зажигалкой. При свете вспышки его лицо с резко очерченными тенями выглядело одиноким и измученным, как лицо изгнанника.

Я не сводила с него глаз.

— А кого вы любите? — спросила я.

Целую минуту Марко в ответ не произносил ни слова. Вместо этого он просто открыл рот и выпустил синий клуб дыма.

— Великолепно, — произнес он в конце концов и расхохотался.

Клуб плыл по воздуху, расширяясь и расплываясь, во тьме он казался призрачным.

— Я влюблен в собственную двоюродную сестру.

Я даже не удивилась:

— А почему же вы на ней не женитесь?

— Это исключено.

— Почему же?

Марко поежился:

— Мы слишком близкие родственники. Она собирается уйти в монастырь.

— А она красивая?

— С ней никому не сравниться.

— А она знает, что вы ее любите?

— Разумеется.

Я помолчала. Вся ситуация казалась мне совершенно нереальной.

— Если вы любите ее, то когда-нибудь сможете полюбить и другую девушку.

Марко швырнул сигару себе под ноги.

Затем яростно раздавил ее.

Земля заворчала и отозвалась в моем теле тихим испугом. Грязь брызнула вверх и испачкала мне пальцы. Я решила было встать, но Марко взял меня за плечи и не позволил этого сделать.

— Но мое платье...

— Твое платье! — Грязь взметнулась в воздух и забрызгала плечи. — Твое платье! — Лицо Марко зависло вплотную над моим. Капли его слюны попали мне на губы. — Твое платье черное, и грязь тоже черная, так что все в порядке.

И он бросился на меня, словно хотел прогрызться сквозь мое тело и зарыться в грязь.

«Сейчас это случится, — подумала я. — Сейчас это случится. Если я просто буду лежать и не стану сопротивляться, то сейчас это случится».

Марко вцепился зубами в бретельку моего платья и разодрал его до пояса. Я увидела, как тускло заблестела в ночи голая кожа. Она казалась бледным пологом, разделяющим двух непримиримых противников.

— Сука!

Это слово обожгло мой слух.

— Сука!

Туман у меня перед глазами рассеялся, и я смогла обозреть все поле сражения разом.

Я начала царапаться и кусаться.

Марко вжимал меня в землю.

— Сука!

Я ударила его по ноге каблуком-шпилькой. Он приотпустил меня, почувствовав резкую боль.

Я сжала руку в кулак и со всей силы ударила его по носу. Ощущение было такое, будто я ударила по броне боевого корабля. Марко сел. Я заплакала.

Марко достал белый носовой платок и приложил его к носу. По бледному батисту, как чернила, расплылась густая тьма.

Я пососала соленые костяшки пальцев.

— Я хочу к Дорин.

Марко посмотрел в сторону площадки для гольфа.

— Я хочу к Дорин. Я хочу домой.

— Суки, все суки. — Марко, казалось, беседовал сам с собой. — Дает или не дает — а все сука.

Я постучала его по плечу:

— Где Дорин?

Марко хмыкнул:

— Пойди на автостоянку. И поищи на задних сиденьях.

Затем он сплюнул себе под ноги:

— Мой бриллиант.

Я встала на ноги и подняла с земли накидку. А потом пошла прочь. Но Марко вскочил и преградил мне дорогу. Затем провел двумя пальцами по все еще кровоточащему носу и шлепнул меня ими по обеим щекам. На них появились кровавые пятна.

— Эта кровь — плата за мой бриллиант. Верни мне его.

— Я не знаю, где он.

Хотя я, конечно же, прекрасно знала, что бриллиант находится в моей бальной сумочке и что, когда Марко на меня накинулся, сумочка улетела, как ночная птица, и шлепнулась куда-то в грязь. Я начала подумывать, чтобы отвлечь его отсюда, а затем самой вернуться и поискать ее.

Я понятия не имела о том, сколько может стоить такой бриллиант, но сумма, конечно, была изрядной.

Марко обеими руками сдавил мне плечи.

— Скажи мне, где он, — произнес он с расстановкой, делая упор на каждое слово. —

Скажи мне, где он, или я сверну тебе шею.

И вдруг мне стало на все наплевать.

— Он в моей сумочке. С отделкой из черного гагата. Где-то здесь, в грязи.

Я ушла, пока Марко на четвереньках ползал по земле, ища во тьме маленький сгусток тьмы, именуемый сумочкой, в котором скрывался от его раскаленных яростью глаз свет бриллианта.

Дорин не было ни в танцевальном зале, ни на автостоянке.

Я старалась оставаться в тени, чтобы никто не заметил травинки и грязь, налипшие мне на платье. Голые плечи и грудь я прикрыла черной накидкой.

К счастью для меня, танцевальный вечер уже подходил к концу, и люди целыми компаниями покидали зал и шли на автостоянку. Я приставала с просьбой подвезти, пока в конце концов не нашла свободное место в машине, подбросившей меня до центра Манхэттена.

В призрачный час между полной тьмой и рассветом солярий на крыше «Амазонки» был совершенно пуст.

Спокойно, как взломщик «на деле», я подошла к самому парапету в своем цветастом халате. Парапет доходил мне почти до плеча, поэтому я придвинула шезлонг, стоявший в ряду подобных у стен, расставила его и вскарабкалась на зыбкое сиденье.

Довольно сильный ветер поднял дыбом мои волосы. У ног спал гигантский город, его здания были черны, как плакальщицы на похоронах.

Это была моя последняя ночь.

Я схватила охапку платьев, которую притащила сюда, и потянула из нее первое попавшееся. В руках у меня оказались безразмерные трусики, за время носки уже порядочно растянувшиеся. Я помахала ими, как флагом, возвещающим о капитуляции, — раз, другой, третий. Ветер занялся ими, и я отпустила.

Как белый снежок, взметнулись они в ночи и начали медленно опускаться. Я подумала о том, на какую крышу или на какую улицу они в конце концов упадут.

Я еще раз потянула что-то из своей охапки.

Порыв ветра иссяк, и тень, подобная летучей мыши, опустилась на крышу соседнего здания.

Один предмет за другим, я скормила весь свой гардероб ночному ветру, и, трепеща, как прах возлюбленного, серые лоскуты и тряпицы унеслись от меня, чтобы опуститься то там, то тут — а где именно, я никогда не узнаю, — в глубину темного сердца Нью-Йорка.

Лицо в зеркальце могло принадлежать и больному индейцу.

Я спрятала косметичку в сумку и посмотрела в окно. Мимо, как одна гигантская свалка, проносились болота и задворки Коннектикута, каждая руина в кричащем противоречии с любой другой.

Как по-идиотски устроен мир!

Я оглядела свой непривычный еще наряд.

Зеленая юбка колоколом с черными, белыми и цвета электрик разводами выглядела абажуром. На белой в сеточку блузке вместо рукавов были какие-то оборочки, напоминающие крылья новорожденного ангела.

Скормив свои туалеты ночному ветру, я не позаботилась о том, чтобы оставить себе что-то на обратную дорогу, поэтому выменяла эту юбку и блузку у Бетси, отдав ей цветастый халат.

Мое призрачное отражение в окне, белые крылышки, пегий «конский хвост» и все прочее плыло над коннектикутским пейзажем.

— Поллианна-Телятница, — обозвала я самое себя, причем вслух. Женщина, сидевшая напротив меня, оторвала взгляд от журнала.

В последний момент я решила не смывать две косые полосы засохшей крови у себя со щек. В них было что-то трогательное и, пожалуй, символическое, и я решила, что сохраню их, как сохранила бы память об умершем возлюбленном, до тех пор пока они не сойдут сами.

Разумеется, если бы я улыбалась или слишком оживленно разговаривала, они стерлись бы сразу, поэтому я старалась оставлять лицо в неподвижности, а если мне приходилось вступать в беседу, то говорила сквозь зубы, не шевеля губами.

И я не могла понять, почему люди так на меня таращатся.

Великое множество народу выглядит куда нелепей, чем я.

Мой серый чемодан подпрыгивал на багажной полке у меня над головой. Он был пуст, если не считать «Тридцати лучших рассказов года», белого пластикового футляра с солнечными очками и двух дюжин авокадо — прощального подарка Дорин.

Плоды были еще незрелые, так что они не должны были испортиться в дороге. Каждый раз, когда я бралась за чемодан, или ставила его наземь, или просто несла его, из чемодана доносилась изрядная канонада — это с грохотом перекатывались мои авокадо.

— Двадцать восьмая миля, — прорычал проводник.

Знакомое запустение, расцвеченное лишь елями, вязами и дубами, замедлило свой бег и застыло в вагонном окошке, как дурно написанный пейзаж. Когда я спускалась на низкую платформу, мой чемодан недовольно загромыхал.

В вагоне воздух был кондиционированным, а здесь меня сразу же охватили знакомые запахи — материнское дыхание сенокосилок, запасных составов на путях, теннисных ракеток, собак и младенцев.

Летний покой опустил на все свою утешительную, как смерть, руку.

Мать ждала меня возле серого, как перчатка, «шевроле».

— О Господи, что это у тебя с лицом?

— Порезалась, — отрывисто бросила я и забралась на заднее сиденье, предварительно водрузив туда же чемодан. Мне не хотелось, чтобы всю дорогу домой она на меня таращилась.

Обивка сидений была чистой и приятной на ощупь.

Мать уселась за руль, перекинула мне на заднее сиденье несколько писем и сразу же сосредоточилась на машине.

Мы тронулись с места.

— Полагаю, я должна сообщить тебе это прямо сейчас, — начала мать, и я буквально почувствовала, как она переполнена какой-то дурной новостью. — Тебя не взяли в летнюю школу.

У меня перехватило дыхание.

Весь июнь пребывание в летней школе мысленно маячило передо мной как надежный и ослепительно яркий мост, перекинутый над унылым потоком лета. А сейчас этот мост задрожал и рассыпался, и тело в белой блузке и в зеленой юбке колоколом рухнуло в бездну вод.

И тут на губах у меня появилась кривая усмешка.

Я ведь этого и ждала.

Я сползла по сиденью; мой нос оказался на уровне автомобильного окошка, мимо меня проносились бостонские дома. И чем знакомее становились их очертания, тем ниже сползала я сама.

Мне казалось чрезвычайно важным, чтобы меня никто не узнал.

Серая, обитая изнутри крыша машины нависала над моей головой, как крыша полицейского фургона, а белые, поблескивающие на солнце стандартные бревенчатые дома, отделенные друг от друга аккуратными полосками газонов, казались прутьями клетки — пусть и большой, пусть и просторной, зато такой, из которой невозможно убежать.

До сих пор мне еще ни разу не доводилось проводить лето у себя дома.

* * *

Мой слух был потревожен истерическим скрипом колес. Солнце, пробиваясь сквозь щели жалюзи, наполнило спальню сернистым светом. Не знаю, сколько мне удалось проспать, но чувствовала я себя совершенно разбитой.

Двухспальная постель рядом с моей была пуста и не застелена.

В семь я услышала, как мать встала, оделась и выскользнула из комнаты. Затем снизу донесся вой соковыжималки, и мне под дверь начал пробиваться запах кофе и яичницы с ветчиной. Затем послышался шум воды в раковине, стук тарелок, которые мать, вымыв, расставляла в сушилке. Затем открылась и закрылась входная дверь. Затем — дверца машины. Затем зарычал мотор, и машина, проскрежетав колесами по гравии, исчезла вдали.

Мать преподавала машинопись и стенографию девицам из городского колледжа, и ее не следовало ждать раньше, чем часам к трем.

Опять заскрипели колеса. Вроде бы кто-то возил туда-сюда детскую коляску у меня под окном.

Я перепорхнула из постели на ковер и осторожно, на четвереньках, подобралась к окну посмотреть, что там происходит.

Наш маленький белый бревенчатый домик, окруженный небольшим садом, стоял на перекрестке двух тихих пригородных улиц, но, несмотря на то что весь участок был по краям обсажен невысокими деревьями, любой прохожий мог с улицы заглянуть в окна второго этажа и увидеть все как есть.

Это растолковала мне наша соседка, мрачная особа по имени миссис Окенден.

Миссис Окенден была удалившейся на покой медсестрой. Она только что в третий раз вышла замуж (два первых мужа умерли при подозрительных обстоятельствах) и коротала большую часть времени, подглядывая из-за белых занавесок собственного дома за всем происходящим.

Она дважды беседовала с моей матерью обо мне: в первый раз доложив, что я битый час просидела в чьем-то синем «плимуте» под фонарем у ворот собственного дома, целуясь с хозяином машины, а во второй — сообщив, что мне лучше бы опускать шторы, когда я готовлюсь лечь в постель, потому что однажды вечером, выгуливая своего скотч-терьера, она видела меня в окне полуголой.

С великой осторожностью я, не вставая с колен, выглянула из окна.

Женщина, в которой не было и пяти футов росту, с гротескно выпирающим животом, катала по улице старую детскую коляску черного цвета. Двое или трое ребятишек разного возраста и роста, но все бледные, с перепачканными в грязи лицами и перепачканными голыми коленками, шли за ней, хоронясь от солнца в тени ее юбки. Блаженная, чуть ли не святая улыбка озаряла лицо женщины. Ее голова чуть покачивалась, откинута назад и казавшаяся воробьиным яйцом, положенным на голубиное: женщина блаженствовала на солнышке.

Я ее хорошо знала.

Это была Додо Конвей.

Додо Конвей была католичкой. Она училась в Барнарде, а потом вышла замуж за архитектора, окончившего университет в округе Колумбия, который тоже был католиком. У них был огромный запущенный дом через улицу от нашего, отгороженный от проезжей части живой изгородью, и сад, заваленный самокатами, трехколесными велосипедами, кукольными колясками, игрушечными пожарными машинами, бейсбольными битами, бадминтонными сетками, крокетными молотками, хомячьими клетками и ошейниками коккер-спаниелей, — словом, всеми приметам и предметами детства в полудачной местности.

Додо, вопреки моей собственной воле, вызывала у меня интерес.

Ее дом резко отличался от остальных в округе: и размерами (он был куда больше), и цветом (второй этаж был из бурых бревен, а первый — из серого известняка, украшенного ракушечником), и сосны к тому же совершенно скрывали его от посторонних глаз, что в здешних местах, где у всех были переходящие один в другой садовые участки и символические, нормальному человеку по пояс, заборы, почиталось как бы асоциальным.

У Додо уже было шесть детей и, вне всякого сомнения, должен был вот-вот появиться седьмой — и она кормила их рисовой кашей, бутербродами с ореховым маслом, ванильным мороженым и спаивала им в чудовищных количествах молоко. Местный молочник делал ей огромную скидку.

Все любили Додо, хотя неуклонный рост ее семейства был постоянной притчей во языцех. У людей постарше, вроде моей матери, было здесь, как правило, по двое детей, у более молодых — и более удачливых — по четверо, но никто, кроме Додо, не собирался обзаводиться седьмым. Даже шесть казались чрезмерной роскошью. Но, в конце концов, соглашались люди, Додо ведь была католичкой.

Я понаблюдала за тем, как Додо катает младшего отпрыска семейства Конвей. Прямо у меня под окном. Словно для того, чтобы меня порадовать.

Дело в том, что от детей меня тошнило.

Половица у меня под ногой скрипнула, и я едва успела пригнуться как раз в то мгновение, когда Додо, словно став сверхъестественно яснослышащей, повернула ко мне свое личико на почти отсутствующей у нее шее.

Я почувствовала, как ее взгляд сверлит стены и обои — и находит меня, скорчившуюся на полу возле серебристой решетки термобатареи.

Я снова забралась в постель и залезла под простыню с головой. Но даже там для меня было слишком светло, поэтому я и накрыла голову подушкой и вообразила, будто сейчас ночь. Я не понимала, чего ради мне стоило бы вставать.

Меня не ожидало ничего интересного.

Через какое-то время я услышала, что внизу, в холле, зазвонил телефон. Я заткнула ухо подушкой и дала телефону пять минут. Потом высунула голову из убежища. Телефон смолк.

И почти сразу же зазвонил снова.

Проклинаю приятельницу, родственницу или какого-нибудь совершенно незнакомого мне человека, тем или иным способом узнавшего о моем возвращении, я босиком пошлепала вниз. Черный аппарат на столике в холле бился в конвульсиях, как какая-нибудь истерическая птичка.

Я взяла трубку.

— Алло, — сказала я низким, нарочно измененным голосом.

— Привет, Эстер, что это с тобой, у тебя никак ангина?

Это была моя старинная приятельница Джоди, и звонила она из Кембриджа.

Джоди этим летом подрабатывала и одновременно с этим проходила вечерний курс по социологии. Она и еще две девицы из моего колледжа сняли на лето большую квартиру у четырех гарвардских студентов, и я собиралась поселиться с ними, когда начнется семинар в летней школе.

Джоди интересовалась, когда им следует ждать меня.

— Я не приеду. Я не прошла по конкурсу.

В разговоре возникла небольшая пауза.

— Вот ведь говнюк этот писатель, — сказала Джоди. — Не может отличить конфетки от дерьма.

— Абсолютно с тобою согласна. — Мой голос звучал странно и отдавался в моих собственных ушах какою-то пустотой.

— Ну, и все равно приезжай. Пройди какой-нибудь другой курс.

Мысль о том, чтобы заняться немецким или, допустим, девиативной психологией, промелькнула у меня в голове. В конце концов, я сберегла почти все, что заработала в Нью-Йорке, так что со скрипом мне бы этого хватило.

Но странный и пустой голос ответил вместо меня:

— На меня лучше не рассчитывайте.

— Ну что ж, — сказала Джоди. — Есть тут одна девица, которая хотела бы поселиться с нами, конечно, если кто-нибудь вдруг откажется...

— Вот и отлично. Зовите ее.

Через минуту после того, как я повесила трубку, я поняла, что надо было ехать. Еще одно утро послушать здесь скрип колясочки — и я просто рехнусь. И я ведь всегда следила за тем, чтобы не оставаться в одном доме с матерью на срок больше недели.

Я потянулась к трубке.

Рука моя проплыла по воздуху несколько дюймов, затем отдернулась и безвольно упала. Я опять, чуть ли не силой, потащила ее к аппарату — и вновь она отпрянула, словно натолкнувшись на невидимую стеклянную преграду.

Я, как лунатичка, побрела в столовую.

На видном месте на столе я нашла большой, официального вида конверт из летней школы и тонкий бледно-голубой конверт из Йейльских запасов, надписанный четким почерком Бадди Уилларда.

Я взяла нож и вскрыла конверт летней школы.

Поскольку я не прошла по конкурсу в семинар по писательскому мастерству, значилось там, мне дозволено выбрать один из других курсов и семинаров, но необходимо позвонить в канцелярию не позднее чем (и приведено было сегодняшнее число!)... потому что все курсы уже почти полностью укомплектованы.

Я набрала номер канцелярии и услышала, как некий зомби безжизненным голосом сообщил, что мисс Эстер Гринвуд не собирается приезжать в летнюю школу. Этим зомби была я.

Затем я распечатала письмо Бадди Уилларда.

Бадди писал, что он, судя по всему, влюбился в медсестру, болеющую, как и он сам, туберкулезом, но что его мать сняла на июль домик в Адирондаке и, дескать, если я приеду вместе с ней, то он, возможно, осознает, что его чувство к медсестре представляет собой не более чем легкое увлечение.

Я схватила карандаш и крест-накрест перечеркнула послание Бадди. Затем перевернула листок и на его оборотной стороне написала, что обручилась с переводчиком-синхронистом и не желаю больше никогда видеть Бадди, потому что моим детям не годится в отцы такой лицемер.

Я вложила листок в тот же самый конверт. Заклеила его и переадресовала Бадди, не наклеив новой марки. Я решила, что такое письмецо стоит того, чтобы он раскошелится на три цента.

Затем я приняла важное решение: этим летом я напишу роман.

И изображу в нем великое множество народу.

Я прошла в кухню, выпустила сырое яйцо в стакан с фаршем, перемешала это и съела. Затем села за карточный столик, выставленный в саду, на сквознячке, между домом и гаражом. Пышный куст лжеапельсина скрывал меня от улицы, а улицу от меня: стены дома и гаража были по обеим сторонам от меня, а сзади я была защищена от миссис Окенден полосой берез.

Я достала из стенного шкафа в кабинете у матери стопку белой бумаги, отсчитала триста пятьдесят листов и вернула остальное на место — под грудой старых фетровых шляп, платяных щеток и шерстяных шарфов.

Вернувшись на ветерок, я вставила первый, девственно-чистый лист бумаги в мою старую портативку.

И каким-то иным, внутренним зрением я увидела себя, сидящую на ветерке в простенке между двумя домами, за кустом лжеапельсина и за невысоким заборчиком, похожую на куклу в кукольном домике.

Нежность нахлынула на меня. Героиней моего романа стану я сама, разумеется, под другим именем. Ее будут звать Элен. Нет, лучше Элейн. Загибая пальцы, я пересчитала буквы в этом имени. Их оказалось пять. Как и в имени Эстер. Счастливое совпадение!

«Элейн, одетая в старую материнскую ночную рубаху желтого цвета, сидела на ветерке и ожидала, что вот-вот что-то случится. Стояло душное июльское утро, и капли пота стекали у нее по спине одна за другой, как некие неторопливые насекомые».

Я откинулась и перечитала написанное.

Начало показалось мне достаточно бойким, а сравнением капель пота с неторопливыми насекомыми я была просто горда, хотя у меня тут же появилось туманное ощущение, что я его где-то давным-давно встречала.

Примерно час я просидела в неподвижности, пытаюсь придумать, что же будет дальше, и в моем мозгу изящная куколка в старой желтой материнской ночной рубахе точно так же просидела битый час, уставившись в пространство.

— А почему ты, малышка, не подумала о том, чтобы одеться? — Моя мать старательно избегала давать мне какие бы то ни было указания. Она только задавала мне интеллигентные, неназойливые вопросы, как, на ее взгляд, и следовало обращаться одной разумной персоне к другой разумной персоне. — Скоро три.

— Я пишу роман. У меня просто не было времени переодеться.

Я легла на скамеечку, стоящую там же, на ветерке, и закрыла глаза. Я слышала, как мать убрала машинку и бумагу с карточного столика и принялась сервировать на нем обед, но лежала не шевелясь.

«Инерция, как микробы, разливалась по всему телу Элейн. Вот как, должно быть, чувствуют себя заболевшие малярией».

В любом случае, хорошо было бы сочинять по странице в день.

И тут я поняла, чего мне не доставало.

Мне необходим был жизненный опыт.

Как мне было сочинять роман о жизни, если у меня до сих пор не случилось ни единой любовной интрижки, если я не завела ребенка и ни разу не видела, как умирает человек? Одна девица моих примерно лет только что получила на конкурсе премию за рассказ, в котором повествовала о своих приключениях в африканском племени пигмеев. Что мне было ей противопоставить?

К концу обеда мать уговорила меня заниматься с нею по вечерам стенографией. Таким образом мне удастся убить двух зайцев сразу: и написать роман, и, наряду с этим, приобрести полезный практический навык. И тем самым я смогу заработать кучу денег.

В тот же вечер мать принесла с чердака старую грифельную доску и установила ее на ветерке. Она подошла к доске и начертала мелом какие-то каракули. Я, сидя в кресле, наблюдала за этими усилиями.

Сначала я на что-то надеялась.

Я думала, что смогу овладеть стенографией буквально за пару дней, и потом, когда дама из отдела стипендий спросит меня, почему я не стала устраиваться на работу на июль и август, как это принято среди тех, кого удостоивают стипендий, я отвечу, что вместо этого прошла бесплатный курс стенографии, чтобы иметь возможность зарабатывать себе на хлеб сразу же по окончании колледжа.

Беда была в том, что стоило мне представить себя стенографисткой, торопливо исписывающей одну страницу за другой, как в мозгу у меня что-то отключалось, я не могла вообразить интересной работы, в которой мне пригодилось бы умение стенографировать. И, по мере того как мать продолжала свои объяснения, белые каракули становились для меня все более и более бессмысленными.

Я сказала матери, что у меня чудовищно разболелась голова, и пошла спать.

Через час дверь в спальню чуть приоткрылась и мать на цыпочках прокралась туда. Я слышала шорох ее одежд, пока она раздевалась. Она забралась в постель. Затем ее дыхание стало медленным и равномерным.

В призрачном свете уличного фонаря, пробивавшемся сквозь опущенные жалюзи, я видела, как бигуди у нее в волосах сверкают маленькими штыками.

Я решила отложить написание романа до того времени, как побываю в Европе и обзаведусь любовником. Одновременно я решила раз и навсегда отказаться от занятий стенографией. Если я не научусь стенографировать, мне не придется работать стенографисткой.

Я решила провести лето за чтением «Поминок по Финнегану» и написать об этой книге дипломное сочинение.

Тогда к началу занятий в сентябре у меня будет приличная фора перед сокурсницами и я смогу в свой последний год в колледже предаваться радостям жизни, вместо того чтобы с всклокоченными волосами и без малейшей косметики сидеть на чудовищной смеси кофе и бензедрина, как поступает большинство честолюбивых старшекурсниц, пока не закончат дипломной работы.

Потом я подумала, что неплохо бы взять академический отпуск на год и пойти поработать в

мастерскую по керамике.

Или поехать в Германию и послужить официанткой, пока я не стану практически двуязычной.

Потом один замысел вслед за другим начали метаться у меня в мозгу, как семейка испуганных кроликов.

Я увидела всю свою жизнь в виде некоей телефонной линии, в которой каждый столб означает прожитый мною год. Я насчитала один, два, три... девятнадцать столбов, а затем провод повис в пустом пространстве, и, сколько я ни старалась, мне было не разглядеть следующего столба. Их было всего девятнадцать.

В комнате начало светать, и я удивилась тому, куда подевалась ночь. Глубокий сон матери сменился легкой предрассветной дремотой. Она лежала передо мной, женщина средних лет, полуоткрыв рот и легонько посапывая. Этот несколько пороссячий звук привел меня в раздражение, и какое-то время мне казалось, что единственным способом прекратить его было бы взять в руку полоску кожи и жил, из которой он вырывается, и сдавить ее что есть силы.

Я притворялась, будто сплю, пока мать не отправилась на работу, но даже сквозь опущенные веки мне в глаза пробивался свет. Красное сырое мясо век висело у меня перед глазами, как два кровоточащих экрана. Я забралась на сетку кровати, под матрас, и он придавил меня, как надгробная плита. Здесь было вполне темно и безопасно, но матрасу, пожалуй, недоставало настоящей тяжести.

Чтобы заснуть, мне следовало навалить на себя матрас на целую тонну тяжелей.

«вниз по течению реки, за край Адама и Евы, от безмятежности берега к злобе и зависти залива, уносимые кромешными кругами кровообращения в сторону замка Хоут и Энвирона...»

От толщины этой книги у меня разболелся живот.

«вниз по течению реки, за край Адама и Евы...»

Я подумала, что строчная буква в начале романа означает, что на самом деле ничто на свете не начинается с самого начала и, следовательно, недостойно заглавной буквы — просто все вытекает откуда-то из середины, откуда-то, где оно было прежде. Адам и Ева означали здесь, разумеется, не библейских Адама и Еву, а что-то совершенно другое.

Может быть, это название кабака в Дублине.

Мои глаза заскользили по алфавитной кашнице букв, пока не уперлись в невероятной длины слово в самой середине страницы:

«бабабадалхарагхтакамминарроннконнброннтоннерроннтуоннтхуннтроваррхоунавснскавнтоохос

Я пересчитала буквы. Их оказалось ровно сто. Я подумала, что это, должно быть, важно.

Почему букв было именно сто?

Я с расстановкой прочитала слово вслух.

Оно было как какой-то тяжелый деревянный предмет, с грохотом рушащийся вниз по лестнице, ступенька за ступенькой. Бум-бум-бум! Пока я листала книгу дальше, страницы начали расплываться у меня перед глазами. Слова, вроде бы знакомые, но какие-то перекошенные, искаженные, как человеческие физиономии в кривом зеркале, пробегали мимо меня, не оставляя отпечатка на стеклянной глади моего мозга.

Я вгляделась в одну из страниц.

У букв появились бородки и рожки. Я увидела, как они разбегаются в разные стороны, как шарахаются друг от друга, как по-идиотски скачут. Затем они утратили привычные очертания и превратились в нечто совершенно фантастическое и неудобочитаемое, типа арабского или китайского.

Я решила отставить свое дипломное сочинение.

Я решила отставить все свои честолюбивые замыслы и стать обыкновенной учительницей

английского языка и литературы. Я начала вспоминать требования, предъявляемые в нашем колледже к тем, кто собирался стать учителем английского.

Но этих требований было великое множество, и я не отвечала доброй половине их. Одним из них было знание литературы восемнадцатого века. Самая мысль о восемнадцатом веке была мне ненавистна: все эти умники, сочиняющие «героические куплеты» и упоенные собственным здравым смыслом. Так что пришлось отказаться от этого. Когда занимаешься по индивидуальной программе, тебе дают куда больше свободы. Мне дали столько свободы, что большую часть времени я читала Дилана Томаса.

Моя приятельница, тоже занимавшаяся по индивидуальной программе, ухитрилась не прочесть ни единой строчки Шекспира, но зато по «Четырем квартетам» Т. С. Элиота она стала настоящей специалисткой.

Я осознала, насколько трудно и скучно будет мне перейти с моей индивидуальной программы на общеобразовательную. Поэтому я справилась насчет общеобразовательного курса городского колледжа, в котором преподавала моя мать.

Но там дело обстояло еще хуже.

Там полагалось изучать староанглийский и историю английского языка. Курс литературы там представлял собой изучение объемистой хрестоматии от «Беовульфа» до наших дней.

Это даже несколько удивило меня. Я привыкла поглядывать на студенток городского колледжа сверху вниз, как на дурочек, которые просто не могут получить стипендию на обучение в одном из больших восточных колледжей.

И вдруг я поняла, что самая тупая из учениц в этом колледже знает куда больше, чем я. Я поняла, что там меня просто на порог не пустят, не говоря уж о том, чтобы предоставить мне большую стипендию, вроде той, что я получаю у себя в колледже.

Я решила, что лучше мне год поработать и все хорошенечко продумать. И может быть, тайком изучить литературу восемнадцатого столетия.

Но я не умею стенографировать — куда же мне поступать на работу?

Я могу, конечно, стать официанткой или секретарем-машинисткой.

Но и то и другое казалось мне совершенно отвратительным.

* * *

— Так говоришь, тебе еще снотворного?

— Да.

— Но те таблетки, что я дала тебе на прошлой неделе, очень сильные.

— Они на меня не действуют.

Большие темные глаза Терезы испытующе уставились на меня. Из сада за окном ее кабинета мне были слышны голоса трех Терезиных ребятишек. Моя тетушка Либби вышла замуж за итальянца, и Тереза была невесткой моей тети и лечащим врачом всего нашего семейства.

Она мне нравилась. Было в ней что-то благородное. И вдобавок к этому, интуиция.

Наверно потому, что она была итальянкой.

В разговоре возникла небольшая пауза.

— Так что, ты говоришь, с тобой происходит?

— Я не могу спать. Я не могу читать.

Я пыталась говорить спокойным, рассудительным тоном, но зомби засел у меня в глотке, и звук его голоса приводил меня в ужас. Я моляще воздела руки.

— Думаю, тебе надо обратиться к другому доктору. Я его хорошо знаю. — Тереза вырвала

из блокнота листок бумаги и написала на нем имя и адрес. — Он сумеет помочь тебе куда лучше, чем я.

Я уставилась на листок, но не сумела разобрать, что на нем написано.

— Его зовут доктор Гордон, — сказала Тереза. — Он психиатр.

Приемная доктора Гордона была выдержана в изысканном бежевом тоне.

Бежевые стены, бежевые ковры, бежевая обивка диванов и кресел. На стенах не было ни зеркал, ни картин — только грамоты и сертификаты различных медицинских заведений с именем доктора Гордона и латинским текстом. Бледно-зеленые папоротники и какое-то растение с остроконечными листьями куда более интенсивного зеленого цвета стояли в горшках на столике у сестры, на кофейном и журнальном столиках.

Сначала я удивилась, почему помещение внушает чувство безопасности. Потом поняла причину: здесь не было окон.

Кондиционер работал так сильно, что я задрожала от холода.

Я все еще была в белой блузке и в зеленой юбке колоколом, выменянных у Бетси. Сейчас они несколько обтрепались. Возможно и потому, что за три недели, проведенные дома, я их ни разу не стирала.

Пропотевшая хлопчатобумажная ткань пахла кисловато, но не без приятности.

И все эти три недели я ни разу не мыла голову.

И уже семь ночей не спала.

Моя мать сказала мне, что, должно быть, я сама не замечаю, что сплю, столько, мол, не спать — просто невозможно; но если я и спала, то с широко раскрытыми глазами, потому что все семь ночей напролет я следила за зелеными стрелками часов, стоящих у меня на ночном столике, за всеми тремя — секундной, минутной и часовой, — не упустив ни секунды, ни минуты, ни часа.

Голову я не мыла и одежду не стирала, потому что и то и другое казалось мне совершенно бессмысленным.

Дни года представлялись мне ярко сверкающими белыми коробочками, отделенными друг от друга черной тенью ночного сна. А для меня, причем совершенно внезапно, черные тени куда-то исчезли, и только белые дни сверкали передо мной светлой, широкой, бесконечной и совершенно бесплодной дорогой.

Бессмысленным казалось мне смывать один день только затем, чтобы вслед за этим смывать и другой.

От одной мысли об этом я чувствовала полнейшее изнеможение.

Мне хотелось сделать что-нибудь раз и навсегда, чтобы разом со всем развязаться.

* * *

Доктор Гордон играл серебристым карандашиком.

— Ваша матушка сообщила, что вы чем-то встревожены.

Я опустилась в кожаное кресло причудливой формы и поглядела на доктора Гордона поверх огромного, сверкающего полировкой письменного стола.

Доктор Гордон выжидал. Он стучал карандашиком — тук-тук-тук — по зеленой обложке журнала.

Ресницы у него были такие длинные и густые, что казались искусственными. Черные искусственные заросли над двумя зелеными стеклянными прудами.

Черты лица у него были настолько правильны, что он выглядел чуть ли не красивым.

Я возненавидела его в то же самое мгновение, когда переступила порог кабинета.

Заранее я представляла себе здорового, доброго и некрасивого, а главное, наделенного даром интуиции дядьку, который подымет глаза, подбадривающе произнесет: «Ага!» — как будто ему сразу же откроется нечто, ускользающее от меня самой, — и в ответ на это мне удастся найти слова, чтобы объяснить ему, как я напугана, как мне кажется, будто меня все глубже и глубже запихивают в какой-то черный воздухо непроницаемый мешок, из которого не видно выхода.

И тогда он откинулся бы в кресле, сложил кончики пальцев, словно сжимая ими невидимый карандаш, и объяснил мне, почему я не в силах спать, и не в силах читать, и не в силах есть и почему все люди кажутся мне такими бесповоротными идиотами, раз уж в конце концов им всем придется умереть.

И потом он помог бы мне, шаг за шагом, обрести мое прежнее «я».

Но доктор Гордон был совершенно не похож на придуманный мной идеал. Он был молод, красив, и я сразу же поняла, что его можно обвести вокруг пальца.

На столе у доктора Гордона стояла фотография в серебряной рамочке. Ее можно было разглядеть и с его места, и с моего, потому что она стояла вполоборота. Это был семейный снимок, изображающий красивую темноволосую женщину, которая вполне могла бы сойти за сестру доктора, улыбающуюся и держащую за руки двух белокурых детей.

Кажется, один из детей был мальчиком, а второй — девочкой, но они оба вполне могли оказаться как мальчиками, так и девочками. Пока дети так малы, это всегда бывает трудно определить. Вроде бы на фотографии была еще и собака, где-то у ног, — эрдельтерьер или золотистый спаниель, — но это вполне могло оказаться и рисунком на юбке у женщины.

По какой-то причине эта фотография привела меня в ярость.

Я не могла понять, с какой стати ее следовало разворачивать вполоборота ко мне, если, конечно, доктор Гордон не решил с места в карьер продемонстрировать мне, что он женат на красавице и что с моей стороны было бы безрассудно строить относительно него какие бы то ни было планы.

А потом я подумала: как это доктор Гордон рассчитывает помочь мне, если он сам, как ангелами-хранителями, окружен красивой женой, красивыми детьми и красивой собакой?

— Может быть, вы попытаетесь объяснить мне, что, как вам представляется, с вами не в порядке?

Я подозрительно опробовала эти слова одно за другим, подобно круглым, обкатанным морской водой камешкам, каждый из которых может внезапно выпустить клешню или коготь и превратиться во что-нибудь совершенно иное.

Что, к а к мне представляется, со мной не в порядке?

Это выглядело так, будто на самом деле все со мной было в порядке, а беспорядок мне только представлялся.

Глухим голосом — чтобы показать доктору, что я не очарована ни его внешностью, ни семейной фотографией, — я объяснила, что не могу спать, не могу читать, не могу есть. Я ничего не сказала ему о своем почерке, хотя он беспокоил меня больше всего.

Этим утром я попробовала написать Дорин в Западную Виргинию, чтобы осведомиться, могу ли я приехать к ней погостить, пожить у нее и, может быть, поработать у нее в колледже — подавальщицей в кафе или чем-нибудь вроде этого.

Но стоило мне взять в руку перо — и из-под него полились огромные корявые буквы, как будто писал малыш, а строки шли слева направо по странице наискось, почти по диагонали, как будто кто-то разложил по всей странице веревочки, а кто-то другой подошел и сдул их с положенного места.

Я понимала, что такое письмо отправлять нельзя, так что я порвала его в клочья и спрятала

к себе в сумочку, рядом с косметичкой, на случай, если моему психиатру захочется на это письмо посмотреть.

Но, разумеется, доктор Гордон и не подумал на него посмотреть, потому что я его даже не упомянула, и собственная хитрость меня сильно порадовала. Я подумала, что будет достаточно рассказать ему только о том, о чем хочется рассказать, и что я смогу держать под контролем собственный образ, складывающийся у него в сознании, упоминая одно и утаивая другое, — и пусть он не воображает себя таким умником.

Все время, пока я говорила, доктор Гордон сидел, склонив голову, словно молился, и единственным звуком, кроме глухого и плоского голоса, было постукивание карандашика в одну и ту же точку на зеленой обложке журнала, что навело меня на мысль о странническом посохе.

Когда я закончила, доктор Гордон поднял голову и поглядел на меня:

— Так в каком, вы говорите, вы учитесь колледже?

Сильно изумившись, я ответила. Я не могла понять, причем тут мой колледж.

— Ах, вот как!

Доктор Гордон откинулся в кресле, и на лице у него появилась блаженная улыбка, как будто он о чем-то вспомнил.

Я думала, что он сейчас поставит мне диагноз и, возможно, я судила о нем чересчур поспешно и чересчур жестоко. Но он произнес:

— Я знаю ваш колледж. Я бывал там во время войны. Там был пункт Вспомогательных женских войск. Или курсы по подготовке медсестер?

Я ответила, что понятия об этом не имею.

— Да, Вспомогательные женские войска. Сейчас припоминаю. Я их пользовал, пока меня не отправили за океан. Красивые были девки.

Доктор Гордон расхохотался.

— Затем — и это было с его стороны хитрым и точным ходом — он поднялся на ноги и, обогнув собственный стол, устремился ко мне. Я не очень-то понимала, что ему нужно, и на всякий случай тоже встала.

Доктор Гордон схватился за руку, плетью висящую справа от меня, и пожал ее.

— Что ж, повидаемся через неделю.

Пышные, грудастые вязы образовывали тенистый туннель посреди кирпичных, красного и желтого цвета зданий на Коммонуэлс-авеню, и троллейбус полз по своей серебряной сдвоенной нити в сторону Бостона. Я подождала, пока он проедет, и, перейдя через дорогу, подошла к серому «шевроле», запаркованному на углу.

Я увидела, что моя мать наблюдает за мной с водительского места. Лицо ее было желтым, как лимон, и взволнованным.

— Ну, и что же доктор сказал?

Я закрыла за собой дверцу. Она не защелкнулась. Я открыла ее и шваркнула еще раз со всей силы.

— Сказал, что мне надо приехать к нему на той неделе.

Мать вздохнула.

Доктор Гордон брал двадцать пять долларов в час.

* * *

— Эй, девушка, как тебя зовут?

— Элли Хиггинботтом.

Морячок подстроился под мой шаг, и я улыбнулась.

Я подумала, что морячков на площади, должно быть, не меньше, чем голубей. Они вроде бы выскакивали один за другим из призывного пункта в дальнем конце Коммон, здание которого было и снаружи, и изнутри обклеено укрепленными на деревянных щитах сине-белыми плакатами с надписью: «Вступай во флот».

— А откуда ты, Элли?

— Из Чикаго.

Я никогда не была в Чикаго, но двое моих знакомых парней учились там в университете, и Чикаго представлялся мне именно таким городом, откуда прибывают тертые и лишенные предрассудков люди.

— Далеко же ты забралась.

Морячок обвил меня рукой за талию, и довольно долгое время мы с ним так и прогуливались по площади: он — поглаживая мое бедро через зеленую юбку колоколом, а я — загадочно улыбаясь и пытаясь ни единым словом не выдать того обстоятельства, что я на самом деле из Бостона и в любую минуту могу нос к носу столкнуться с миссис Уиллард или какой-нибудь другой из материнских подружек, когда они пересекают Коммон после чаепития на Бэкон-Хилл или покупок в универмаге Филена.

Я подумала, что если я и впрямь когда-нибудь попаду в Чикаго, то непременно сменю имя и буду называться Элли Хиггинботтом. И тогда никто не узнает о том, что я пренебрегла стипендией в одном из крупных женских колледжей Восточного побережья, и прослонялась без дела целый месяц в Нью-Йорке, и отвергла предложение руки и сердца со стороны чрезвычайно солидного студента-медика, который когда-нибудь непременно станет членом Всеамериканской ассоциации врачей и будет зарабатывать кучу денег.

В Чикаго люди будут принимать меня такой, какова я на самом деле.

Я буду просто девицей по имени Элли Хиггинботтом, к тому же сиротой. Все полюбят меня за мягкий и кроткий нрав. Меня не будут заставлять читать книги и писать пространные сочинения о мотиве двойничества в творчестве Джеймса Джойса. И когда-нибудь я выйду замуж за мужественного, но нежного автомеханика и заведу с ним на свой коровий лад множество детей, не меньше, чем у Додо Конвей.

Если мне этого, конечно, захочется.

— А чем ты собираешься заняться, когда тебя демобилизуют? — неожиданно для себя самой спросила я у морячка.

Это была самая длинная фраза из числа произнесенных мною за весь разговор, и морячка она изрядно озадачила. Он сдвинул набок свою белую фуражку и почесал в затылке:

— Не знаю, Элли, просто не знаю. Может, поступлю в колледж. Нам ведь дают стипендию.

Я выждала. А затем задала наводящий вопрос:

— А тебе никогда не приходило в голову завести автомастерскую?

— Нет, — ответил морячок. — Вот это уж никогда в жизни.

Я искоса посмотрела на него. На вид ему было максимум лет шестнадцать.

— А ты знаешь, сколько мне лет? — мрачно осведомилась я.

Морячок ухмыльнулся:

— Нет, да и наплевать мне на это!

Я поняла, что он по-настоящему славный парень. Тип у него был нордический, и выглядел он довольно мужественно. И в то же время — девственно. Выходит, раз я такая простодушная, то ко мне так и тянет чистых, приятных во всех отношениях людей.

— А мне тридцать, — сказала я, чтобы проверить его реакцию.

— Да брось ты, Элли, тебе твоих лет не дашь!

И он шлепнул меня по ягодице.

Затем морячок с ищущим видом огляделся по сторонам:

— Послушай, Элли, если мы зайдем за памятник вон с той стороны, где ступеньки, мы можем поцеловаться.

В это мгновение я заметила женщину в коричневом и в коричневых без каблука туфлях, которая пересекала площадь, двигаясь в моем направлении. На таком расстоянии я не могла еще разобрать черт круглого, как пятак, лица, но, разумеется, я понимала, что это миссис Уиллард.

— Не подскажите ли мне, где тут метро? — обратилась я к своему морячку нарочито громким голосом.

— Что такое?

— Метро! Чтобы проехать до тюрьмы на Оленьем острове.

Когда миссис Уиллард поравняется с нами, я сделаю вид, будто знать не знаю этого морячка, у которого позволила себе всего лишь осведомиться, как попасть в метро.

— Убери руку, — пробормотала я сквозь зубы.

— Послушай, Элли, в чем дело?

Женщина поравнялась с нами и прошла мимо, не снизойдя ни до взгляда, ни тем более до кивка. Разумеется, это была не миссис Уиллард. Миссис Уиллард находилась сейчас в Адирондаке.

Я мстительно посмотрела вслед незнакомой даме.

— Но послушай-ка, Элли...

— Мне показалось, что это одна моя знакомая. Одна сучья попечительница из детского дома в Чикаго.

Морячок опять приобнял меня:

— Ты хочешь сказать, Элли, что у тебя нет ни отца, ни матери?

— Да. — По щеке у меня скатилась слеза, приготовленная уже заранее. Она проложила по щеке маленький жаркий след.

— Послушай, Элли, только не плачь. Эта тетка, она что, жестоко с тобой обращалась?

— Она была... она была самым настоящим чудовищем!

Слезы хлынули из моих глаз ручьями, и пока морячок утирал их своим большим льняным платком и обнимал меня под сенью вяза, я думала о том, каким чудовищем была для меня в прошлом эта женщина в коричневом и как она, зная об этом или нет, несла ответственность за то, что я ступила не на ту тропу и свернула не на том повороте, и за все то скверное, что случилось со мной поздней.

* * *

— Что ж, Эстер, как ты себя чувствуешь на этой неделе?

Доктор Гордон баюкал свой карандаш, как маленькую изящную пулю.

— Точно так же.

— Точно так же?

Он поднял бровь, словно я сказала что-то совершенно непредставимое.

Поэтому я вновь поведала ему тем же самым глухим и плоским голосом — только на этот раз он звучал несколько более сердито, потому что врач оказался таким бестолковым, — что уже четырнадцать ночей я не сплю, и не могу ни читать, ни писать, и глотаю пищу только с большим трудом.

Но на доктора Гордона это, казалось, не произвело никакого впечатления.

Я полезла в сумочку и извлекла оттуда обрывки письма, адресованного Дорин. Я просыпала их на зеленую обложку его журнала. И ключья бумаги застыли на ней, как лепестки маргаритки на летнем лугу.

— Ну, а что, — спросила я, — думаете вы об этом?

Я ожидала, что доктор Гордон немедленно осознает, как плохи мои дела, но его ответ гласил:

— Мне бы хотелось поговорить с вашей матушкой. Вы не против?

— Ничуть.

Хотя мысль о том, что доктор собирается поговорить с моей матерью, пришлась мне не по душе. Я боялась, что он предложит ей поместить меня в дурдом. Я собрала все ключья моего письма к Дорин, чтобы доктор не смог, сложив их, прочитать, что я планирую убежать из дому. После чего покинула кабинет, не произнеся больше ни единого слова.

* * *

По мере того как мать приближалась к зданию, в котором находился кабинет доктора Гордона, она становилась все меньше и меньше. Зато все больше и больше становилась она на обратном пути к машине.

— Ну и что?

По выражению ее лица я поняла, что она только что плакала.

Мать не удостоила меня взглядом. Она завела машину.

Затем, когда мы скользили в глубокой, прохладной, напоминающей о морском дне тени вязов, она сказала:

— Доктор Гордон находит, что ты ничуть не идешь на поправку. Он полагает, что тебя следует подвергнуть шоковой терапии в его частной клинике в Уолтоне.

Я почувствовала острый укол любопытства, как будто только что мне попался на глаза страшный газетный заголовок, касающийся, однако же, кого-то другого.

— Он сказал, что меня поместят туда? Да?

— Нет, — ответила мать, и ее подбородок подозрительно задрожал.

Я подумала, что она, должно быть, врет.

— Если ты не скажешь мне правду, я больше никогда не буду с тобой разговаривать.

— Но я же всегда говорю тебе правду, — воскликнула мать и опять разрыдалась.

* * *

САМОУБИЙЦА СПАСЕН С БАЛКОНА НА СЕДЬМОМ ЭТАЖЕ!

После двухчасового пребывания на узком балконе седьмого этажа прямо над асфальтовой автостоянкой, на глазах у множества зевак, мистер Джордж Получчи позволил сержанту Уиллу Килмартину из полицейского участка на Чарльз-стрит увести себя в безопасное место.

Я разгрызла орешек из десятицентового фунтика, который купила, чтобы кормить голубей, и съела его. Вкус у него был какой-то мертвый, как у древесной коры.

Я поднесла газету к самым глазам, чтобы получше рассмотреть лицо Джорджа Получчи,

светящееся, как луна в три четверти, на зыбком фоне кирпичной стены и черного неба. Я чувствовала, что он может сообщить мне нечто важное и, что бы это ни было, оно должно быть написано у него на лице.

Но более-менее четкие черты Джорджа Получчи расплылись у меня перед глазами, пока я в них взглядывалась, и превратились в бессмысленную череду черных и белых пятен с какими-то серыми крапинками.

В заметке, набранной жирным шрифтом, не сообщалось о том, как мистер Получчи очутился на балконе и каким именно образом сержанту Килмартину удалось уговорить его отказаться от задуманного.

Беда с этими выбрасываниями из окна заключалась в том, что если не выберешь нужное количество этажей, то можешь, разбившись, остаться в живых. Однако семь этажей казались мне достаточно надежной высотой.

Я сложила газету и сунула ее между перекладин садовой скамьи. Газеты такого рода моя мать называла бульварными. Здесь речь шла о городских убийствах, самоубийствах, избиениях, ограблениях и почти на каждой полосе была изображена полуголая дама с грудями, выбивающимися наружу из декольте, и ногами, расставленными или закинутыми так, что вам видны были подвязки.

Сама не знаю, почему я раньше никогда не покупала таких газет. Но сейчас они стали единственным, что я оказалась в состоянии читать. Короткие заметки под каждым снимком заканчивались прежде, чем буквы начинали корячиться и расплываться. На дом мы получали только «Крисчен сайенс монитор», оказывавшуюся у нас на пороге ровно в пять утра каждый день, кроме воскресенья, и трактовавшую такие темы, как самоубийства, преступления на сексуальной почве и авиакатастрофы, так, словно ничего подобного никогда и ни с кем не случается.

Большая белая лодка в форме лебедя, переполненная ребятами, проплыла мимо моей скамьи, обогнула островок, на котором сновали голуби, и вошла под темную арку моста. Все, что я видела, представлялось мне ярким, но чрезвычайно хрупким.

И, словно сквозь замочную скважину в двери, которую я была не в состоянии открыть, я увидела себя и своего младшего брата совсем крошечными, с воздушными шариками в руках и карабкающимися на борт лебединой лодки. Мы с ним затеяли возню за место у борта, а внизу колыхалась усыпанная ореховой шелухой вода. Во рту у меня возник вкус свежести и мышьяка. Когда мы хорошо себя вели у зубного врача, мать всегда вознаграждала нас поездкой на этой лодке.

Я сделала круг по Паблик-Гарден — по мосту, под сине-зелеными монументами, мимо развевающегося американского флага и ворот, у которых за двадцать пять центов вы можете сфотографироваться в будке, раскрашенной в белую и оранжевую полосы. Я читала на табличках названия деревьев.

Моим любимым деревом была плакучая ива. Я думаю, ее привезли из Японии. Там, в Японии, знают толк в человеческой душе.

Когда что-то у японца начинает идти вкривь и вкось, он делает себе харакири.

Я попыталась представить себе, как к этому делу следует подступиться. Для начала нужен крайне острый нож. Нет, должно быть два крайне острых ножа. Японец садится, скрестив ноги, и берет в обе руки по хорошо наточенному, крайне острому ножу. Затем кладет руки крест-накрест и упирается остриями ножей с двух сторон себе в живот. Для этого надо быть обнаженным, иначе ножи заплутаются в одежде.

Затем, одним молниеносным движением, не имея времени, чтобы передумать, японец вонзает в себя ножи и рассекает ими тело, ведя один сверху вниз, а второй — снизу вверх и

описывая тем самым полный круг. И вот кожа с живота отделяется, плоская, как тарелка, внутренности вываливаются наружу, и японец умирает.

Какая нужна смелость для того, чтобы решиться на такую смерть.

Беда в том, что я не выносила вида крови.

Я решила остаться в парке на всю ночь.

На следующее утро Додо Конвей должна была повезти нас с матерью в Уолтон, и если я собиралась убежать прежде, чем это произойдет, то сейчас было самое время. Я заглянула в сумочку и пересчитала наличные. У меня имелся бумажный доллар и семьдесят девять центов гривенниками, пятаками и центами.

Я не имела представления о том, сколько может стоить билет до Чикаго, и не осмеливалась пойти в банк и снять со счета все свои деньги, потому что, как мне казалось, доктор Гордон уже предупредил кассиров о возможности такого шага с моей стороны.

Можно было попробовать добраться на попутках, но я не представляла себе, какая из великого множества бостонских дорог ведет в сторону Чикаго. Это по карте ориентироваться предельно просто, а попробуйте-ка посреди городской толчеи! Каждый раз, когда я решала определить по солнцу стороны света, непременно оказывалось, что время полуденное или что небо в тучах, от чего было, разумеется, мало толку, а то и вовсе наступала ночь, а за исключением Большой Медведицы и Кассиопеи я ничего не понимала в звездах, что всегда приводило в глубокое отчаяние Бадди Уилларда.

Я решила пойти на автовокзал и осведомиться о стоимости билета до Чикаго. А потом я смогу отправиться в банк и снять со счета в точности ту сумму, которая была бы необходима, и это не возбудит ничьих подозрений.

Я как раз прошла через стеклянные двери автовокзала и уставилась на цветную схему маршрутов и приложенное к ней расписание, когда мне пришло в голову, что банк в нашем городке уже, должно быть, закрыт, потому что было сильно за полдень, и я не смогу получить свои деньги до следующего утра.

В Уолтоне мне назначили на десять.

И в это мгновение пробудился от спячки громкоговоритель и начал перечислять остановки по пути следования отправляющегося вот-вот в путь автобуса. Голос диктора был предельно неразборчив, словно нарочно для того, чтобы вы не могли понять ни единого слова, и вдруг, посреди всей этой абракадабры, я услышала знакомое название столь же отчетливо, как отдельно взятую ноту «до» сквозь гам настраивающихся инструментов большого оркестра.

Это было название остановки в двух кварталах от моего дома.

Я выскочила на улицу, в жаркий и пыльный послеполуденный июльский воздух, я вспотела, и во рту у меня был песок — я помчалась так, словно опаздывала на важное свидание, и взобралась в красный автобус, мотор которого уже призывно рычал.

Я протянула плату водителю, и медленно, бесшумно, на прорезиненных петлях, двери сомкнулись у меня за спиной.

Частная клиника доктора Гордона высилась на вершине поросшего густой травой холма, и к ней вел длинный и пологий въезд, выстланный битым ракушечником. Желтые бревенчатые стены большого здания, опоясанного верандой, сверкали на солнце, но в зеленых просторах сада не было видно ни души.

Когда мы с матерью вылезли из машины, на нас обрушился летний зной, и в листве медного бука у нас за спиной завела свою песню цикада, подобно воздушной сенокосилке. Ее пение только подчеркивало дарящую здесь необычайную тишину.

У дверей нас встретила медсестра:

— Пожалуйста, подождите в гостиной. Доктор Гордон освободится с минуты на минуту.

Меня сильно тревожило то, что все в этом доме казалось чрезвычайно нормальным, тогда как на самом деле он был битком набит всякими психами. Не было ни решеток на окнах (во всяком случае, я их не видела), ни каких-нибудь жутких воплей. Солнечный свет через определенные промежутки озарял потертые, но мягкие красные ковры, и запах свежескошенной травы приятно облагораживал воздух.

Я остановилась в дверях гостиной.

Сперва она показалась мне точной копией холла в одной из гостиниц на острове в штате Мэн, где мне когда-то случилось побывать. Сквозь широкую дверь веранды в комнату падал солнечный свет, в дальнем конце помещения стоял большой концертный рояль, а люди в летних нарядах сидели кто за карточным столиком, кто в шезлонгах, какие на каждом шагу находишь на морских курортах.

И вдруг я поняла, что никто из этих людей не шевелится.

Я посмотрела на них как можно пристальней, чтобы разгадать тайну их неподвижности. Я увидела мужчин и женщин, а также юношей и девушек примерно такого же возраста, как я сама, но лица их были настолько одинаковы, как будто эти больные долгое время пролежали где-нибудь в камышах, вдали от солнечного света, присыпанные сверху бледным и мелким прахом.

А потом я заметила, что кое-кто на самом деле шевелится, но движения были настолько мелкими, настолько по-птичьи крошечными, что я их, конечно же, сперва просто не различила.

Мужчина с лицом серого цвета считал карты из игральной колоды: одна, две, три, четыре... Вначале я решила, что он проверяет, все ли карты на месте, но, закончив свое занятие, он перевернул колоду и начал все сначала. Рядом с ним рыхлая дама играла с веревочкой, унизанной шерстяными шариками. Она передвигала шарики к одному краю веревочки, а затем начинала перегонять их на другой край.

У рояля какая-то девушка листала ноты, но, когда она увидела, что я наблюдаю за ней, сердито набычилась и разорвала партитуру пополам.

Мать взяла меня за руку, и следом за ней я вошла в гостиную. Мы сели, не говоря друг другу ни слова, на жалкий диван, поскрипывавший каждый раз, стоило кому-нибудь шевельнуться.

Затем мой взгляд скользнул в сторону людей, сидящих в тени зеленой тяжелой портьеры, и мне показалось, что я очутилась в витрине огромного магазина. Фигуры вокруг меня не были живыми людьми — это были манекены, витринные манекены, раскрашенные, чтобы походить на живых людей, и расставленные или рассажены в позах, призванных имитировать живую жизнь.

Я карабкалась вверх, и передо мной плыла спина доктора Гордона в темном пиджаке.

Внизу, в холле, я пыталась спросить у него, что это за штука такая — шоковая терапия, но стоило мне открыть рот, я не могла произнести ни слова, только глаза мои вылезали из орбит и пялились на знакомое улыбающееся лицо, плывущее передо мной как тарелка, на которую щедрой рукой наложили всяческие посулы.

На самом верху лестницы ковровая дорожка закончилась. Ее сменил голый коричневый линолеум в коридоре с белыми, наглухо закрытыми дверями. Пока я шла следом за доктором Гордоном, одна из дверей вдали приоткрылась, и оттуда донесся вопль. Кричала женщина.

И сразу же из-за поворота перед нами появилась медсестра, ведущая женщину с распущенными и всклокоченными волосами, одетую в синий халат. Доктор Гордон посторонился, давая им пройти, а я буквально притиснулась к стене.

Пока женщину, машущую руками и сопротивляющуюся жесткой хватке медсестры, проводили мимо нас, она без умолку повторяла:

— А все равно выпрыгну из окна, а все равно выпрыгну из окна, а все равно выпрыгну из окна...

Угрюмая и мускулистая медсестра в накрахмаленном халате носила очки с такими толстыми стеклами, что вместо двух глаз на меня из-под этих сдвоенных круглых линз уставились как бы сразу четыре. На одном глазу у нее было бельмо. Я попыталась было определить, какие из четырех глаз были настоящими, а какие поддельными и какой из настоящих глаз был бельмастым, а какой нет, но она придвинула лицо вплотную к моему, причем губы ее растянулись в широкой заговорщической ухмылке, и прошипела словно бы для того, чтобы подбодрить меня:

— Никуда она не выпрыгнет, у нас тут на всех окнах решетки!

И когда доктор Гордон впустил меня в голую комнатку в дальнем конце коридора, я убедилась в том, что окна здесь и впрямь зарешечены, а входная дверь, и дверца шкафа, и ящики письменного стола, и вообще все, что может открываться и закрываться, снабжено замочными скважинами и, следовательно, замками.

Я легла на кушетку.

Бельмастая медсестра очутилась в комнате. Она сняла у меня с руки часы и положила себе в карман. Затем начала выбирать заколки у меня из волос.

Доктор Гордон отпер шкаф. Он выкатил оттуда столик на колесиках, на котором был укреплен какой-то прибор, и приблизил его к изголовью кушетки. Медсестра смазала чем-то гахучим мне виски.

Когда она перегнулась через меня, чтобы смазать дальний от нее висок, ее жирная грудь проехала по моему лицу, как туча или подушка. Ее плоть источала зыбкий медицинский запах.

— Не волнуйся, — с ухмылкой шепнула мне медсестра. — В первый раз все бывают до смерти напуганы.

Я попыталась улыбнуться, но моя кожа задубела.

Доктор Гордон укрепил у меня на висках две металлические пластинки. Он обмотал их лентой, соорудив у меня на голове нечто вроде обруча, дал мне провод и велел закусить его.

Я закрыла глаза.

И тут что-то обрушилось на меня,хватило и принялось трясти так, что мне показалось, будто началось светопреставление.

Это нечто завизжало и заверещало, в воздухе вспыхнули сполохи синего света, и с каждой вспышкой в меня вонзался гигантский железный прут, и мне казалось, что мои кости сейчас треснут и сок брызнет из меня, как из расщепленного дерева.

Я сидела в плетеном кресле, держа бокал с томатным соком. Часы вновь были у меня на руке, но выглядели как-то странно. Потом я поняла, что их надели мне на руку вверх ногами. Да и заколки у меня в волосах были не там, куда их обычно вкалывала я сама.

— Как вы себя чувствуете?

И тут мне вспомнилась старая напольная металлическая электролампа. Одна из немногих диковин, сохранившихся в отцовском кабинете, она была снабжена большим медным колпаком. От лампочки вниз по металлическому стояку шел тигрового цвета провод, на конце которого была вилка. Лампа включалась в настенную розетку.

Однажды я решила переставить лампу от изголовья материной кровати, где она тогда стояла, к своему письменному столу в другом конце комнаты. Провод ее был достаточной длины, так что я решила не выключать ее. Я взялась одной рукой за лампу, а другой за провод и туго сжала их.

И тут какая-то синяя вспышка вырвалась из лампы и поразила меня. У меня бешено застучали зубы, я попыталась оторвать руки, но они как будто прилипли — и я закричала, или крик сам вырвался у меня, потому что я не осознавала, что кричу, но слышала рев и грохот в воздухе, как будто в помещении вдруг начал свирепствовать какой-то бесплотный призрак.

Затем мои руки отлипли, и я рухнула на материну постель. На правой ладони у меня, в самой середине, возникла черная дыра, словно бы нарисованная грифельным карандашом.

— Как вы себя чувствуете?

— Нормально.

Но я солгала. На самом деле я чувствовала себя просто ужасно.

— Так в каком колледже, вы говорите, вы учитесь?

Я назвала колледж.

— Ах вот как! — Лицо доктора Гордона озарилось медленной, ленивой, чуть ли не тропической улыбкой. — Там ведь был пункт Вспомогательных женских войск во время войны, не правда ли?

Костяшки пальцев на руках у моей матери были смертельно бледными, словно за час ожидания с них слезла кожа. Из-за моего плеча она посмотрела на доктора Гордона, и он, должно быть, кивнул ей или улыбнулся, потому что напряжение ее лица несколько ослабло.

— Еще несколько сеансов шоковой терапии, миссис Гринвуд, — услышала я голос доктора Гордона, — и вы, я убежден, заметите существенную перемену к лучшему.

Девушка по-прежнему сидела за роялем, разорванная партитура валялась у нее под ногами, как мертвая птица. Она уставилась на меня, а я точно так же уставилась на нее. Ее глаза стали щелочками, и она показала мне язык.

Мать проводила доктора Гордона до входа во внутренние помещения клиники. Я поплелась следом, а когда они повернулись ко мне спиной, рванулась к девушке и стукнула ее двумя руками по ушам. Она сразу же убрала язык, и лицо ее окаменело.

Я вышла на свежий воздух. Светило солнце.

Огромная черная машина Додо Конвей растянулась в тени дерева, как пантера. Эту машину-пикап заказала первоначально для себя одна видная общественная деятельница — большую,

черную, без единой искры хрома и с черными кожаными сиденьями. Но, получив машину, дама загрустила. Уж больно та была похожа на похоронную. Точно так же решили и все остальные, и поэтому никому не захотелось ее перекупать, так что чета Конвей получила ее с большой скидкой и перегнала к себе в гараж, сэкономив на этом пару сотен долларов.

Сидя на переднем сиденье, между матерью и Додо, я чувствовала себя тупой и разбитой. Каждый раз, когда я пыталась на чем-нибудь сосредоточиться, мой мозг, как фигурист, вылетал на пустынную гладь катка и начинал выписывать на ней замысловатые, но бессмысленные пируэты.

— Я с этим доктором Гордоном завязала, — сказала я матери, когда Додо и ее черная машина скрылись за соснами. — Позвони ему и скажи, чтобы он на следующей неделе меня не ждал.

Мать улыбнулась:

— Я так и знала, что моя малютка не такова.

Я с подозрением посмотрела на нее:

— Что значит «не такова»?

— Не такова, как эти страшные люди. Эти страшные люди, эти живые мертвецы там, в клинике. — Она чуть помедлила. — Я так и знала, что ты решишь поправиться сама.

* * *

СТАРЛЕТКА УМЕРЛА ПОСЛЕ ШЕСТИДЕСЯТИВОСЬМИЧАСОВОЙ КОМЫ

Я принялась рыться в сумочке — и посреди ключев бумаги, косметички, ореховой шелухи, медяков и гривенников, и синей коробочки, в которой было девятнадцать фирменных лезвий «Жиллет», нашла моментальную фотографию, которую сделала сегодня после обеда в будке, раскрашенной в оранжевую и белую полосы.

Я поднесла ее к фотографии, крайне расплывчатой, на которой была изображена мертвая девица. Тут рот и там рот. Глаза на моментальном снимке были открыты, а на фотографии в газете — закрыты. Но я понимала, что если отжать веки умершей, то ее глаза взглянут на меня с тем же мертвым, черным и отсутствующим выражением, как глаза на моментальном снимке.

Я спрятала его в сумочку.

«Посижу здесь, на солнышке, до тех пор, пока вон на тех башенных часах не набежит еще пять минут, — сказала я самой себе, — а потом пойду куда-нибудь и сделаю то, что задумала».

И тут же во мне проснулся всегдашний хор тоненьких голосов:

— А разве, Эстер, тебя не увлекает твоя работа?

— Ты ведь знаешь, Эстер, что ты самая настоящая неврастеничка.

— Так у тебя ничего не выйдет, так у тебя ничего не выйдет, так у тебя ничего не выйдет.

Однажды душным летним вечером я провела целый час, обнимаясь и целуясь с волосатым, гориллообразным студентом права из Йейля, потому что мне было жаль его: он казался таким страшилищем. Когда мы оставили это занятие, он заявил:

— Я тебя понял, детка. Годам к сорока ты превратишься в самый настоящий синий чулок.

— Артефакт! — воскликнул преподаватель творческого мастерства в колледже, прочитав мой рассказ под названием «Большой уик-энд».

Я не знала, что такое «артефакт», так что пришлось заглянуть в словарь.

Артефакт — подделка, одним словом — стыд и срам.

— Так у тебя ничего не выйдет.

Я не спала уже двадцать одну ночь подряд.

Я думала о том, что на свете нет ничего прекрасней тени. Миллион движущихся теней и бесконечное множество теней неподвижных. Тень таилась в ящиках письменного стола, в шкафах, в чемоданах, тень жила под домами, деревьями и камнями, тень была в глубине человеческих глаз и улыбок, и тень, долгие мили сплошной тени — на ночной стороне Земли.

Я взглянула на две телесного цвета полосы пластыря, наложенные крест-накрест на мою правую ляжку.

Этим утром я предприняла первую попытку.

Я заперлась в ванной, наполнила ванну теплой водой и достала лезвие «Жиллет».

Когда какого-нибудь римского философа или кого-то в том же роде спрашивали, какой способ самоубийства он предпочитает, он отвечал, что хочет вскрыть себе вены в теплой ванне. Я подумала, что это, должно быть, легко — лежать в теплой воде, наблюдая, как два алых цветка вырастают у тебя из запястий медленными и безболезненными всплесками в чистой прозрачной воде, пока, одурманенная как мак, ты не скользнешь в забвенье под ее поверхность.

Но когда дело дошло до того, чтобы приступить к этому самой, кожа на запястьях показалась мне такой белой и такой незащитной, что я не смогла решиться. Мне почудилось, будто то, что я вознамерилась умертвить, обитает вовсе не под кожей и вовсе не в тонких синеватых прожилках вен, напрягшихся, когда я сдавила себе запястье, а где-то в другом месте, гораздо глубже, — и добраться туда будет гораздо труднее.

Необходимо сделать два движения. Чиркнуть по одному запястью, потом по другому. Нет — три, потому что придется переложить бритву из одной руки в другую. А потом я лягу в ванну.

Я подошла к аптечному шкафчику. На нем было зеркало. Если сделать это, глядя на себя в зеркало, покажется, что просто смотришь спектакль, в котором играет кто-то другой.

Но человек на глади зеркала был слишком глуп и слишком парализован страхом, чтобы на что-нибудь решиться.

Тогда я подумала, что неплохо бы для практики устроить небольшое кровопролитие. Я села на край ванны и закинула правую ногу на левую. Подняла правую руку с зажатой в ней бритвой и позволила ей упасть, как топору гильотины. Бритва вонзилась в ляжку.

Я ничего не почувствовала. Сперва. Потом ощутила в глубине плоти нечто вроде легкой щекотки, и из пореза показалась кровь. Она была темной, как рубин, и струилась у меня по ноге, стекая в черную кожаную фирменную туфлю.

Я подумала было немедленно улечься в ванну, но сразу же сообразила, что на колебания у меня ушла уже большая часть утра, и мать скорей всего успеет вернуться и отыскать меня прежде, чем все будет кончено.

Так что я перевязала порез, спрятала в сумочку пачку лезвий и на автобусе в одиннадцать тридцать поехала в Бостон.

* * *

— К сожалению, детка, в тюрьму на Оленьем острове метро не ходит. Да и вообще это никакой не остров.

— Да нет, остров, раньше это был остров. Просто его потом соединили с материком.

— А метро туда не ходит.

— Но мне надо попасть туда.

— Послушай-ка, только не надо плакать. — Толстый кассир из своей будки с сожалением

посмотрел на меня. — А зачем тебе туда, детка? У тебя там кто-то из родственников?

Люди проходили мимо меня и исчезали в поездах метро, озаренные искусственным светом в здешней тьме. Поезда шныряли туда и сюда в туннелях под Сколлей-сквер. Я почувствовала, что на глаза у меня набегают слезы.

— Там мой отец!

Толстяк сверился со схемой, висящей на стене в его будке.

— Вот как тебе нужно поступить! Поедешь на поезде прямо отсюда, сверху, до Восточных Высот, а там сядешь на автобус номер один. — Его лицо засияло. — И приедешь прямехонько к тюремным воротам.

* * *

— Эй, вы! — Парень в синей форме махнул мне из своей будки.

Я махнула в ответ и пошла дальше.

— Эй, вы!

Я повернулась и неторопливо пошла к будке, казавшейся одной-единственной круглой гостиной, почему-то расположившейся посреди пляжа.

— Послушайте, дальше вам нельзя. Здесь территория тюрьмы, и гулять здесь запрещено.

— А мне казалось, что по берегу можно идти куда угодно. Пока не заходишь за приливную черту.

Парень минуту поколебался:

— Но не по этому берегу.

У него было приятное, свежее лицо.

— Хорошо тут у вас, — сказала я. — Самый настоящий домик.

Он оглянулся на свою будку с выцветшим ковром и грошовыми занавесками. Затем улыбнулся:

— У нас тут даже кофе есть.

— Я когда-то здесь рядом жила.

— Не надо шутить. Я сам всю жизнь прожил в этом городе.

Я окинула взглядом пляж вплоть до автостоянки и зарешеченных ворот. А за воротами начиналась узкая дорога, с обеих сторон стиснутая океаном. Она вела в то место, которое некогда было островом.

Красные кирпичные корпуса тюрьмы выглядели вполне миролюбиво, как постройки какого-нибудь приморского колледжа. На зеленом лугу слева от тюрьмы я разглядела какие-то белые пятнышки и розовые пятнышки чуть побольше. Пятнышки были в постоянном движении. Я спросила у охранника, что это такое, и он сказал:

— Куры и свиньи.

Я подумала, что доведись мне жить и учиться в этом городе, я могла бы оказаться одноклассницей этого охранника и выйти за него замуж, и тогда сейчас у меня был бы уже целый выводок детишек. Как хорошо было бы жить на берегу моря, в окружении детишек, свиней и кур, щеголять в том, что моя бабушка называла «прачкиными нарядами», и сидеть в покрытой коричневым линолеумом кухне, и подносить жирной рукой ко рту одну чашку кофе за другой.

— А что надо сделать, чтобы попасть в эту тюрьму?

— Получить пропуск.

— Нет, я хочу сказать, чтобы тебя сюда посадили?

— Ну, — охранник расхохотался, — надо украсть машину или ограбить какую-нибудь лавку.

— А убийцы здесь тоже есть?

— Нет. Убийц держат в главной тюрьме штата.

— Ну, а кто тут еще?

— С началом зимы здесь собираются старые бродяги со всего Бостона. Запустят кирпичом в первое попавшееся окно, их схватят и продержат всю зиму в тепле, с телевизором и трехразовой кормежкой, и даже с баскетболом по уик-эндам.

— Здорово!

— Здорово, если тебе такое по вкусу.

Я попрощалась и пошла прочь, один-единственный раз позволив себе обернуться. Охранник по-прежнему стоял в дверном проеме своей будки и, увидев, что я обернулась, приветствовал меня взмахом руки. Это был как бы прощальный салют.

* * *

Бревно, на котором я сидела, было тяжелым, как свинцовое, и пахло смолой. Под сенью водонапорной башни, воздвигнутой на холме, полоска песка вилась по берегу моря. В часы прилива пляж полностью заливало.

Я хорошо знала здешний пляж. Он имел форму петли, в узком конце которой можно было найти ракушки, каких не было больше нигде.

Ракушки эти были толстые, гладкие, величиной с сустав большого пальца и главным образом белые, хотя попадались порой розовые и персиковые. Из них можно было сделать незамысловатое ожерелье.

— Мама, эта девушка все еще сидит!

Я подняла голову и увидела маленького мальчика, всего в песке, которого волокла по берегу загорелая женщина с птичьими глазами, одетая в красные шорты и красный в белый горошек лифчик.

Я не ожидала найти на этом пляже столько народу. Но за те десять лет, что меня здесь не было, весь берег порос синими, красными и бледно-зелеными тентами, как какими-то чудовищными грибами, и на смену серебряным аэропланам с сигарообразным дымчатым следом в небе появились спортивные самолетики и вертолеты, едва не задевавшие на подлете к аэродрому крыши домов.

Я единственная на всем пляже была в юбке и в туфлях на высоком каблуке, и мне пришло в голову, что я этим чересчур выделяюсь. Через какое-то время я сняла туфли, потому что идти в них по песку было тяжело. Я оставила их возле бревна. Мне приятно была мысль о том, что они останутся здесь, указывая своими острыми носами в сторону моря, как две стрелки компаса — особого компаса для душ, — когда я уже буду мертва.

Я нащупала в сумочке пачку лезвий.

И подумала о том, какая я идиотка. Лезвия-то у меня есть, а откуда здесь взять теплую ванну?

Я подумала, не снять ли мне где-нибудь тут, поблизости, комнату. Наверняка здесь должны быть какие-нибудь пансионаты. Но у меня не было никакого багажа. И это непременно возбудит подозрения. И, кроме того, в пансионате все постоянно стремятся попасть в ванную комнату. И как только я вскрою себе вены и лягу в ванну, кто-нибудь нетерпеливо забарабанит ко мне в дверь.

Чайки на деревянном настиле на краю пляжа мяукали, как кошки. Затем, одна за другой, снялись с места, взмыли в воздух в своем пепельного цвета оперенье, закружились у меня над головою и застенали.

* * *

— Послушайте, тетя, вам лучше уйти отсюда. Сейчас начнется прилив.

В нескольких футах от меня стоял маленький мальчик. Он поднял с земли круглый камешек красного цвета и запустил им в воду. Вода проглотила его с жадным всхлипом. Мальчик принялся искать еще какой-нибудь подходящий камень, и сухая галька зазвенела у него под рукой, как монеты.

Он поднял зеленый плоский камешек, метнул его — и тот подскочил на воде семь раз, прежде чем утонуть.

— Почему ты не идешь домой? — спросила я у него.

— Мне неохота.

— А мать тебя, наверно, ищет.

— Не-а...

Но вид у него при этом стал озабоченный.

— Если пойдешь, я дам тебе конфет.

Мальчик подошел поближе:

— А каких конфет?

Но, даже не заглядывая в сумочку, я поняла, что там нет ничего, кроме ореховой скорлупы.

— Я дам тебе немного денег, а конфеты ты выберешь сам.

— Ар-тууур! По пляжу к нам приближалась женщина, чуть прихрамывая и, вне всякого сомнения, проклиная себя, потому что между призывами к сыну ее губы яростно и непрерывно дрожали.

— Ар-тууур!

Она поднесла руку козырьком к глазам, словно так ей проще было разглядеть нас в сгущающемся тумане.

Я почувствовала, что, по мере того как его мать подходила все ближе и ближе, мальчик утрачивал ко мне всякий интерес. Он даже начал делать вид, будто не имеет ко мне никакого отношения. Перетряхнул несколько камней, точно он что-то искал, и поспешил прочь.

Меня бросило в дрожь.

Камни, мокрые и холодные, были у меня под босыми ногами. Я с тоской подумала о черных туфлях, оставленных на берегу. Волна отхлынула, как будто море убрало руку, затем прихлынула вновь и коснулась моих ступней.

Сыростью веяло в воздухе едва ли не с самого морского дна, где слепые белые рыбы прокладывали себе путь сквозь великую полярную ночь благодаря собственным локаторам. Я увидела, как зубы акулы и плавники кита поднимаются из морской воды, подобно серым надгробьям.

Я замедлила шаг и даже остановилась, как будто море было в состоянии сделать выбор вместо меня.

Вторая волна, покрытая белой пеной, обдала меня, и холод проник мне в ноги, которые свело чудовищной болью.

Моя трусливая плоть не желала умирать подобного рода смертью.

Я крепче вцепилась в сумочку и поспешила по холодным камням туда, где в фиолетовых

сумерках свою одинокую вигилию вершили мои черные туфли.

— Разумеется, его убила собственная мать. Я поглядела в рот парню, с которым познакомилась по рекомендации Джоди. Губы у него были толстые и розовые, а совершенно детское личико увенчано пышными пепельно-белыми волосами. Он был альбинос. Его звали Каль, что, как я решила, должно было означать сокращение от какого-нибудь полного имени, но единственным именем собственным, ассоциирующимся с Калем, была для меня Калифорния:

— А почему это ты берешься рассуждать об этом с такой уверенностью?

Каль слыл в своей компании большим умником, и Джоди сказала мне по телефону, что с ним нужно держать ухо востро, но что он мне непременно понравится. Я задумалась над тем, понравился бы он мне или нет, если бы мы встретились, когда я еще была самой собой.

Определить это было невозможно.

— Ну, во-первых, она долгое время отпиралась, а потом вдруг призналась.

— Но потом забрала свое признание назад.

Мы с Калем лежали бок о бок на простыне в оранжевую и зеленую полоску. Дело происходило на грязном пляже напротив Линнских болот. Джоди купалась со своим ухажером по имени Марк. Калю не хотелось купаться, ему хотелось поговорить, и мы с ним обсуждали пьесу, в которой молодой человек обнаруживает, что начинает сходить с ума, потому что его отец путается с потаскухами, и в конце концов все время слабеющий разум отказывает совершенно, а мать размышляет над тем, убить ей сына или нет.

Я подозревала, что моя мать позвонила Джоди и умолила ее пригласить меня на море, чтобы я не сидела весь день в комнате с опущенными шторами. Сперва я категорически решила отказаться от этой вылазки, потому как опасалась, что Джоди заметит происшедшую со мной и во мне перемену, да и любой нормальный человек моментально обнаружит, что я не в своем уме.

Но на протяжении всей поездки на север, а потом на восток Джоди болтала, шутила и смеялась и как будто совершенно игнорировала тот факт, что я реагирую на все сказанное репликами типа «ух ты», «вот как» и «не скажи». Мы сами приготовили себе «жареных собак» в общественном гриле на пляже, и, предельно внимательно наблюдая за Джоди, Марком и Калем, я ухитрилась подержать свою «собаку» на огне ровно столько, сколько было нужно, не сожгла ее и не уронила в пламя, чего все время опасалась. А потом, когда они все отвернулись, похоронила изготовленное мною блюдо в песке.

После еды Джоди и Марк, взявшись за руки, побежали в воду, а я легла на спину и уставилась в небо. Каль без умолку толковал о пьесе.

Единственной причиной, по которой я помнила содержание пьесы, было наличие в ней умалишенного персонажа, а все, что я читала или слышала о сумасшедших, мгновенно запечатлевалось у меня в мозгу, тогда как все остальное моментально оттуда улетучивалось.

— Но признание куда важнее, — сказал Каль. — И к признанию она в конце концов приходит.

Я подняла голову и посмотрела в ту сторону, где большой синей тарелкой лежало море. Большой синей тарелкой с грязным ободком. И огромный серый камень, по форме напоминающий половинку куриного яйца, торчал из воды примерно в миле от каменистого берега.

— А как она собиралась убить его? Я что-то забыла.

Я этого, конечно же, не забыла. Я это прекрасно помнила, но мне было интересно послушать Каля.

— Морфием.

— А как ты думаешь, сейчас в Америке можно достать морфий?

Каль на минуту задумался:

— Думаю, нельзя. Это ведь звучит чертовски старомодно.

Я перекатилась на живот и начала смотреть в другом направлении, в сторону Линна. Стеклянная дымка поднималась над жаровнями гриль-бара, над дорогой плыл зной, и сквозь эту дымку, как сквозь прозрачную воду, я могла разглядеть уродливо громоздящиеся на горизонте бензоколонки, фабрики, склады и мосты. Выглядело все это отвратительно.

Я опять перевернулась на спину и спросила, по возможности беззаботно:

— А вот если бы ты решил покончить с собой, что бы ты для этого предпринял?

Калю этот вопрос пришелся явно по душе.

— Я много думал об этом. Я выстрелил бы себе в висок.

Я была разочарована. Типично мужской способ самоубийства. Едва ли мне когда-нибудь удастся раздобыть пистолет. И даже если достану, я не смогу решить, куда именно мне стрелять.

Я не раз читала о людях, пытавшихся застрелиться. В конце концов они попадали куда-нибудь не туда и оказывались парализованы на всю жизнь или обезображены, но их неизменно спасали — хирурги, а то и просто чудо, — спасали от смерти.

Риск разделить их участь был очень велик.

— А из чего бы ты выстрелил?

— Из отцовского пистолета. Он держит его постоянно заряженным. Мне пришлось бы всего лишь войти к нему в кабинет и сделать пиф-паф.

Каль поднес палец к виску и состроил комическую гримасу. После чего уставился на меня своими бесцветно-серыми глазами.

— А твой отец живет в окрестностях Бостона? — спросила я с самым невинным видом.

— Нет, в Клэктоне. Он англичанин.

Джоди и Марк, по-прежнему держась за руки, вышли на берег. Брызги летели с них, как с двух влюбленных голубков. Я подумала, что компания становится чересчур многолюдной. Поэтому встала и сделала вид, будто зеваю.

— Пойду-ка сплаваю.

Пребывание с Джоди, Марком и Калем начало тяготить меня. К моим нервам, натянутым как фортепианные струны, словно бы прикрепили здоровенное бревно. Я боялась, что в любой момент могу потерять контроль над собой и начну тогда сетовать им на то, что разучилась читать и писать, и хвастаться тем, что я, должно быть, единственный человек на свете, которому удастся обходиться без сна, не умерев при этом, на протяжении уже почти целого месяца.

Мои нервы словно бы задымились от перенапряжения, подобно жаровням общественного гриля и знойной, раскаленной от солнца дороге. Все вокруг меня — пляж, берег, море и скалы — заколыхалось, как театральные кулисы. Я подумала о том, в какой точке пространства глупая, стыдливая синева неба становится кромешно черной.

— Ступай с ней, Каль!

И Джоди шутя шлепнула Каля по заду.

— Да нет. — Каль зарылся лицом в простыню. — Слишком холодно.

Я неторопливо пошла к морю.

В ослепительном и безжалостном полуденном свете море казалось притягательным и отзывчивым.

Я подумала, что утонуть легче всего. А хуже всего было бы сгореть заживо. У некоторых эмбрионов, которых показывал мне Бадди Уиллард, были жабры. Так он, во всяком случае, утверждал. Они попали в спирт на той стадии своего развития, когда были как рыбы.

Маленькая грязная волнишка, на которой плавали конфетные фантики и апельсиновая шелуха, обрызнула мои ноги.

У меня за спиной послышался скрип песка. Меня догонял Каль.

— Давай-ка сплаваем до того камня, — предложила я.

— Ты что — ошалела? Тут будет добрая миля.

— А ты что — цыпленок?

Каль взял меня под руку, и мы вошли в воду. Когда мы зашли по пояс, он утопил меня. Я вынырнула, расплескивая брызги, мои глаза были полны солью. Под поверхностью вода была зеленой и чуть посверкивала, как кварц.

Я поплыла не то по-собачьи, не то саженками, не отводя глаз от камня. Каль плыл неторопливым кролем. Через какое-то время он высоко поднял голову и отхаркался.

— Больше не могу. — Он задыхался и говорил с трудом.

— Ну и прекрасно. Плыви к берегу.

Мне казалось, что я смогу заплыть настолько далеко, что у меня не хватит сил вернуться обратно. Сердце билось у меня в груди, и тяжелый стук, подобный стуку мотора, отдавался в ушах.

Аз есмь, аз есмь, аз есмь.

* * *

В это утро я попыталась повеситься.

Как только мать уехала на работу, я выдернула из ее желтого халата, висящего в прохладной спальне, шелковый кушак и смастерила петлю, скользящую туда и сюда без всякой моей помощи. Это отняло у меня изрядное количество времени, потому что ни в узлах, ни в петлях я никогда не была сильна, а тут необходимо было не дать маху.

Затем я осмотрелась в поисках предмета, к которому можно привязать веревку.

Беда в том, что потолки в нашем доме никуда не годились. Они были низкими и покрытыми белым пластиком, ни люстр, ни каких-нибудь деревянных перекладин тут не имелось. Я с тоской подумала о доме, который раньше принадлежал моей бабушке. Но потом она продала его и стала жить с нами, а еще позднее переехала к тете Либби.

Бабушкин дом был выстроен в добром, старом стиле девятнадцатого столетия — с высокими потолками, тяжелыми люстрами и высоченными шкафами, над каждым из которых была прибита надежная перекладина. А еще там имелся и чердак, куда никто никогда не заглядывал, заваленный всякой рухлядью — какими-то рундуками, птичьими клетками, портновскими манекенами, — а по самому верху шла широченная балка, могучая, как корабельная рея.

Но это был старый дом, и она продала его, и у меня не было теперь знакомых, которые жили бы в доме, подобном бабушкиному.

После мучительного периода поисков, на протяжении которого я разгуливала по дому с желтой шелковой петлей на шее, так ничего и не найдя, я уселась на край материнной постели и попробовала затянуть петлю потуже.

Но каждый раз, когда я стягивала ее настолько сильно, что у меня начинало шуметь в ушах и все лицо наливалось кровью, мои руки слабели и машинально отпускали петлю — и сразу же все проходило.

И тут я поняла, что мое тело припасло для меня множество всяких сюрпризов — типа того, что мои руки слабели в критическую секунду, — потому что, если бы мне удалось полностью

навязать ему свою волю, и оно, и я оказались бы мертвы в то же самое мгновение.

Собрав остатки здравого смысла, мне следовало заманить тело в западню; иначе оно запрет меня в свою дурацкую клетку, чего доброго, еще лет на пятьдесят — а в этом не будет ни малейшего смысла. А когда люди обнаружат, что я спятила, — а они обнаружат это рано или поздно, несмотря на то что мать, конечно, не будет об этом трепаться, — они уговорят ее поместить меня в сумасшедший дом, чтобы там меня вылечили.

А вылечить меня невозможно.

Я купила в аптеке несколько дешевых изданий по психопатологии и сравнила свои симптомы с теми, что были описаны в этих книгах. И конечно же, такие симптомы соответствовали самым безнадежным заболеваниям.

Помимо бульварных газетенок, единственным, что я в силах была читать, оставались книги по психопатологии. Это выглядело так, словно для меня нарочно оставили некую узкую щель, в которую я могла посмотреть на самое себя и выяснить достаточно, чтобы прийти к надлежащим выводам.

После фиаско с повешением я подумала, не отказаться ли мне от суицидных попыток вовсе и не отдаться ли во власть докторам, но тут я вспомнила о докторе Гордоне и его машине ужасов. Если меня поместят в клинику, они смогут устраивать мне электрошок хоть круглые сутки.

И еще я представила себе, как моя мать, и брат, и подруги примутся навещать меня изо дня в день, надеясь, что мне вот-вот станет лучше. А затем их визиты начнут становиться все реже и реже, потому что они оставят всякую надежду на мое выздоровление. А потом они постареют. И меня заберут.

Да и разорятся к тому же.

Сперва им захочется обеспечить мне самое лучшее лечение, и они вбухают все свои деньги в какую-нибудь частную клинику вроде той, которой заведует доктор Гордон. А потом, когда они окончательно разорятся, меня переведут в общественную больницу для бедных, где сотни несчастных вроде меня ютятся в одной огромной клетке в полуподвале.

Ведь чем безнадежней ваш случай, тем глубже стараются вас запрятать.

* * *

Каль повернулся и поплыл к берегу.

Обернувшись, я увидела, что он уже бредет по воде, доходящей ему до плеч. На фоне песка цвета хаки и изумрудно-зеленой морской ряби его тело мгновенно предстало как бы рассеченным пополам, словно тело белого червя. Затем он полностью выбрался из изумрудной зелени в царство хаки и потерялся среди десятков и сотен других червей, ползавших или просто гревшихся на солнце между морем и небом.

Я погрузила руки в воду и пощипала себе ступни. Похожий на половину хрупкого яйца камень, казалось, оставался на том же расстоянии от меня, как когда мы с Калем смотрели на него с берега.

И тут я поняла, что доплывать до камня будет бессмысленно, потому что мое тело воспользуется подвернувшимся шансом вскарабкаться на него, погреться на солнышке и набраться сил на обратный заплыв.

Единственная возможность утонуть представлялась прямо здесь, в открытом море.

Поэтому я прекратила плыть.

Я прижала руки к груди, опустила голову и нырнула, расталкивая воду локтями. Морская

толща надавила мне на уши и стиснула сердце. Я изо всех сил стремилась вниз, но, прежде чем мне удалось осознать, где я нахожусь, море выплюнуло меня на солнце и весь мир вокруг меня засверкал, как синие, зеленые и желтые полудрагоценные камни.

Я вытряхнула воду из глаз.

Я была без сил, как после страшного физического напряжения, но море несло меня, как на плоту, по своим волнам.

Я нырнула еще раз, потом еще раз — но каждый раз море выталкивало меня, как пробку из бутылки шампанского.

Серый камень смеялся надо мною уже в открытую; казалось, он качался на волне, как спасательный буй.

И я осознала, что и на этот раз потерпела поражение.

Я повернула к берегу.

* * *

Цветы кивали мне головками, как умные и сознательные дети, пока я тащила их по всему холму.

Я чувствовала себя в своей серо-зеленой добровольщической униформе совершенной идиоткой и вдобавок к этому абсолютно не на своем месте, в отличие от одетых в белое докторов и медсестер и даже от носящих коричневые халаты уборщиц с вечными метлами и ведрами грязной воды, — и все они проходили мимо меня, не удостоив и словом.

Если бы мне платили, пусть самую малость, я в конце концов могла бы назвать это настоящей работой, но единственной наградой за раскладку журналов и конфет и расстановку цветов по вазам служил мне бесплатный ленч.

Мать сказала, что лучшее лекарство для человека, который слишком много о самом себе размышляет, — это помощь тем, кому приходится еще хуже, чем тебе, поэтому Тереза устроила меня на правах добровольной помощницы в местную больницу. Попасть сюда в таком качестве было трудно, потому что среди молодых дам города это занятие было довольно модно, но, к счастью для меня, большинство из них разъехалось по случаю летних вакаций.

Я надеялась, что меня определят присматривать за кем-нибудь из по-настоящему тяжелобольных, — и он увидит на моем строгом страдальческом лице, как я переживаю за него, и почувствует ко мне благодарность. Но начальница над добровольными помощницами, общественная деятельница и ревностная посетительница церкви, едва взглянув на меня, приговорила:

— В послеродовое отделение.

И я поднялась на три этажа на лифте, попала в послеродовое отделение и отрекомендовалась старшей медсестре. А она указала мне на столик на колесиках, весь уставленный цветами. Моей задачей было разнести цветы по палатам и к постелям тех, кому они были посланы, причем ничего не перепутав.

Но стоило мне подойти к дверям первой же палаты, как я заметила, что один из букетов растрепался и крайние цветы в нем уже начали увядать. Я подумала о том, как горько будет женщине, только что разрешившейся от бремени и произведшей на свет дитя, получить в подарок большой букет мертвых цветов, поэтому я подкатила свой столик к рукомойнику, расположенному в стенной нише, и принялась выбирать из букета увядшие цветы.

Вслед за увядшими я выбрала все, которые начали увядать или же были близки к этому.

Нигде поблизости не было мусорного ведра или корзины, поэтому я смяла цветы и бросила

их в раковину. Раковина была на ощупь холодна, как могила. Я улыбнулась. Так, должно быть, здесь кладут тела усопших в больничный морг. И движение моих рук, пусть и едва заметное, невольно повторило куда более размашистые жесты докторов и медсестер.

Я широко распахнула двери палаты и вошла, катя перед собой столик с цветами. Несколько медсестер повскакали со своих мест, а я вроде бы как в тумане увидела истории болезни и шкатулки с лекарствами.

— Что тебе нужно? — строго спросила одна из медсестер. Я не смогла бы в точности определить какая: все они были для меня на одно лицо.

— Я разношу цветы.

Медсестра, только что разговаривавшая со мной, положила мне руку на плечо и осторожно вывела меня из палаты, одновременно с этим выталкивая мой столик на колесиках свободной и опытной рукой. Она раскрыла дверь в соседнее помещение и подтолкнула меня по направлению к ней. А сама исчезла.

Я слышала, как они хихикают у себя в кабинете, пока дверь в палату не закрылась за мной, отсекая их хотя бы на время.

В палате было шесть коек, и на каждой находилось по роженице. Все женщины в данную минуту сидели, занимаясь вязанием, листая журналы или накручивая бигуди, и болтали, как попугайчики в большой клетке.

Я почему-то предполагала, что найду их спящими или хотя бы спокойно лежащими и непременно бледными и мне придется, чтобы не потревожить их, красться на цыпочках, сверяя номера коек с номерами на ленточках, привязанных к вазам с цветами, но, прежде чем мне представился шанс со всем этим разобраться, яркая развеселая блондинка с резкими чертами треугольного лица поманила меня к себе.

Я начала приближаться к ней, оставив столик посередине палаты, но тут она сделала нетерпеливый жест, и я поняла, что ей хочется, чтобы я подкатила к ней столик.

Так я и поступила, то ли высокомерно, то ли заискивающе ей улыбаясь.

— Эй, а где там мои цветочки? Где мой дельфиниум?

Огромная костистая особа из другого конца палаты вперила в меня орлиный взор.

Остролицая блондинка наклонилась над столиком.

— Вот мои чайные розы, — произнесла она. — Но почему-то вперемешку с каким-то вшивым ирисом.

В палате зазвучали голоса и остальных женщин. Звучали они громко, упрямо, и слышалась в них какая-то обида.

Я только было раскрыла рот, чтобы объяснить им, что выкинула в раковину ворох увядшего дельфиниума и что в некоторых вазах было так мало цветов, что я добавила туда, взяв из других, как вдруг дверь палаты широко распахнулась и на пороге появилась медсестра, примчавшаяся сюда, чтобы выяснить, что, собственно говоря, происходит.

— Сестричка, у меня был большой букет дельфиниума! Ларри принес его мне прошлым вечером.

— Она перемешала мои чайные розы с какой-то дрянью.

Бросившись бежать, я на ходу стянула с себя зеленую униформу и запихнула ее в ту же раковину, где покоились увядшие цветы. И затем помчалась через ступеньку вниз по пустынной черной лестнице, и, к счастью, никто не попался мне навстречу.

— Как пройти на кладбище?

Итальянец в черной кожаной куртке остановился и указал пальцем на аллею, идущую от белой методистской церкви. Эту церковь я помнила. Я была методисткой до девяти лет, а потом мой отец умер, мы переехали и обратились в унитариянское вероисповедание.

До обращения в методизм моя мать была католичкой. Дед и бабушка и тетя Либби так и остались католиками. Тетя Либби простилась с католицизмом одновременно с моей матерью, но потом влюбилась в итальянца, который, разумеется, был католиком, и возвратилась в лоно покинутой было церкви.

Позднее я и сама начала задумываться над тем, не перейти ли мне в католичество. Я знала, что самоубийство считается у католиков страшным грехом. Но если так, они, возможно, особенно постараются удержать меня от этого шага.

Разумеется, я совершенно не верила в загробную жизнь, в непорочное зачатие, в инквизицию, в непогрешимость этого человечка с обезьяньим лицом, которого они называют папой, и во все такое прочее; но ведь объявлять об этом священнику было вовсе не обязательно — я могла всецело сосредоточиться на своих собственных грехах, а он помог бы мне в них покаяться.

Беда была в том, что церковь, даже католическая, не в состоянии занять и заполнить твою жизнь всецело. Можешь сколько угодно молиться и преклонять колени, тебе все равно придется есть три раза в день, ходить на работу и жить в миру.

Мне хотелось узнать, какой стаж католичества нужно иметь, чтобы получить возможность уйти в монастырь, и я спросила об этом у матери, полагая, что она способна подсказать мне оптимальное решение.

Мать, однако же, рассмеялась:

— Думаешь, они тебя просто так, с бухты-барухты, и возьмут? Надо знать назубок катехизис и все молитвы и, главное, надо верить, твердо и непоколебимо. А девицу-то вроде тебя — да ни в коем разе!

Тем не менее я постоянно играла с мыслью о том, чтобы пойти на исповедь к какому-нибудь бостонскому священнику — непременно к бостонскому, потому что мне не хотелось, чтобы кто-нибудь из священников в моем городке узнал о том, что я подумываю о самоубийстве. Все священники — невероятные сплетники.

Я оденусь в черное — это-будет хорошо контрастировать с моим мертвенно-белым лицом — и брошусь в ноги священнику, и воскликну: «Отец, помогите мне!»

Но такие мысли одолевали меня, пока люди не начали то втихомолку, то явно надо мной потешаться, вроде как эти медсестры в больнице.

Я была абсолютно уверена в том, что католики не принимают к себе в монастыри душевнобольных. Муж тетушки Либби как-то раз шутя рассказал насчет одной монахини, прибывшей на осмотр к Терезе. Эта монахиня постоянно слышала игру невидимых арф, и какой-то голос нашептывал ей на ухо «аллилуйя». Однако в ходе беседы с врачом она не смогла со всей уверенностью сказать, было ли звучащее у нее в ушах слово именно «аллилуйя», а не «Аризона». Монашка была родом из Аризоны и, полагаю, провела остаток своих дней в сумасшедшем доме.

Я спрятала лицо под черной вуалью и прошла сквозь литые чугунные ворота. Мне показалось странным, что, хотя на этом кладбище похоронен мой отец, никто из нас никогда не приходил к нему на могилу. Мать даже не позволила нам присутствовать на похоронах, потому что мы с братом были тогда еще совсем детьми, а отец умер не дома, а в клинике, — и поэтому кладбище и сама его смерть всегда представлялись мне чем-то нереальным.

Позже у меня время от времени случались порывы воздать отцу за все годы, на протяжении

которых я его терпеть не могла, и начать ухаживать за его могилой. В конце концов, я ведь была его любимицей, и поэтому мне подобало оплакивать его, раз уж моя мать оказалась на это не способной.

Мне думалось, если бы мой отец не умер, он научил бы меня всему, что знал о насекомых, которые были его университетской специальностью. Он преподавал бы мне немецкий, древнегреческий и латынь, которыми владел, и, возможно, я перешла бы в лютеранство. Мой отец был лютеранином, пока жил в штате Висконсин, но здесь, в Новой Англии, лютеранство было не в моде, и поэтому он превратился в довольно скверного лютеранина, а потом, как утверждает моя мать, — и в закоренелого атеиста.

Кладбище разочаровало меня. Оно было расположено за городом, в низине, на изрядно заболоченной почве, и, пока я гуляла по выложенным гравием тропкам, до меня доносились какие-то неприятные соленые запахи.

Старая часть кладбища оказалась еще куда ни шло, с ее плоскими надгробиями, письмена на которых были уже полустерты, и с покрытыми лишайником изваяниями, но довольно скоро я осознала, что отец покоится в современной части кладбища, где даты смерти помечены тысяча девятьсот сороковыми годами.

Надгробные плиты в современной части кладбища выглядели грубыми и дешевыми и то там, то тут могилы были обрамлены мрамором, что напоминало мне о продолговатых мраморных ваннах, наполненных грязью, а ржавые металлические контейнеры с искусственными цветами поднимались в том месте, где у покойника должен находиться пуп.

С серого неба пошел мелкий дождик, и я почувствовала сильнейшую тоску.

И я не могла найти отцовскую могилу.

Низкие, косматые тучи клубились у горизонта в той стороне, где было море, за пляжами и дачными поселками, и тяжелые капли дождя падали на черный плащ, приобретенный мною сегодня утром. Сырость пробирала меня до костей.

Покупая плащ, я спросила у продавщицы:

— А он водонепроницаемый?

И она ответила:

— Водонепроницаемых плащей не бывает. Он лив неустойчивый.

А когда я спросила у нее, что означает «ливнеустойчивый», она посоветовала мне приобрести заодно и зонтик.

Но на покупку зонтика у меня уже не хватало денег. Со всеми моими тратами на билеты до Бостона и обратно, на орехи, газеты и книги по психопатологии и на морские прогулки до моего родного города мои нью-йоркские заработки были уже почти исчерпаны.

Я решила покончить с собой, когда на моем банковском счету не останется ни гроша, и сегодня я потратила последние деньги на черный плащ.

И тут я увидела отцовскую могилу.

Впритык к его надгробной плите была чья-то другая, буквально впритык, как люди стоят впритык друг к другу в помещении, где никому не хватает места. Плита была из нежно-розового мрамора, цвета консервированного тунца, и написано на ней было только отцовское имя и две даты со штришком между ними.

К изножью плиты я положила жалкий мокрый пучок азалий, которые сорвала с куста, растущего у кладбищенских ворот. Затем у меня подогнулись ноги, и я села на влажную траву. Я не могла понять, почему так громко плачу.

Но тут я вспомнила, что до сих пор не пролила по своему отцу ни слезинки.

Моя мать тоже проводила его без слез. Она только улыбалась и говорила о том, какое великодушие проявил отец, вовремя умерев, потому что, если бы он не умер, ему суждено было

провести остаток своих дней парализованным калекой, а он, конечно же, и сам предпочел бы умереть, нежели влачить столь жалкое существование.

Я прижалась лицом к ледяному лику мраморной плиты и выплакала под холодным соленым дождем все свое горе, оплакала все свои утраты.

* * *

Теперь я знала, как к этому подойти.

В ту же минуту, когда машина затормозила на выезде и шум мотора затих, я вскочила с постели, быстро надела белую блузку, зеленую юбку колоколом и черный плащ. Плащ со вчерашнего дня не успел просохнуть, но скоро это перестанет иметь какое бы то ни было значение.

Я спустилась по лестнице, нашла на обеденном столе бледно-голубой конверт и вывела на обороте огромными корявыми буквами: «Я ухожу на длинную прогулку».

Я положила свое сообщение туда, где моя мать заметит его, как только вернется.

И расхохоталась.

Я ведь забыла самое главное.

Я помчалась наверх и придвинула кресло к шкафу. Взобравшись на кресло, я достала с верхней полки маленькую, наглухо задраенную зеленую шкатулку. Я могла бы открыть ее голыми руками — замочек был таким жалким — но мне хотелось проделать все хладнокровно и по порядку.

Я полезла в материнский письменный стол, открыла верхний ящик справа и достала оттуда синюю шкатулку с драгоценностями, упрятанную под надушенные ирландские салфетки. Из обитой изнутри бархатом шкатулки я достала маленький ключик. Отперла им зеленую шкатулку и достала оттуда непечатый флакончик с таблетками. Их оказалось больше, чем я рассчитывала найти.

Как минимум, пятьдесят.

Если бы я решила подождать, пока мать не выдаст их мне по штуке на ночь, мне пришлось бы прикапывать их на протяжении пятидесяти ночей. А за это время возобновились бы занятия в колледже, и возвратился бы из Германии мой брат, и вообще стало бы слишком поздно.

Я положила ключ на место, к недорогим цепочкам и колечкам, поставила шкатулку в ящик письменного стола под ирландские салфетки, возвратила шкатулку с лекарствами на верхнюю полку шкафа и передвинула по ковру кресло в точности туда, где оно стояло раньше.

Затем спустилась на первый этаж и прошла на кухню. Открыла кран и налила себе большой стакан воды. Затем, со стаканом и с флакончиком таблеток, отправилась в подвал.

Туманный, как бы подводный, свет заливал это помещение, струясь из низких подвальных окон. За старой керосиновой горелкой в стене, примерно на уровне плеча, было слуховое окно, уходившее куда-то в неизвестном направлении. И еще одна дыра, пошире, для вентиляции, присовокупленная к дому после того, как был вырыт этот подвал, ставший таинственным и таинственным образом связанным с землей прибежищем.

Несколько старых и полусгнивших поленьев преграждали путь в вентиляционное отверстие. Мне удалось чуть сдвинуть их с места. Затем я поставила стакан с водой и флакончик с таблетками рядышком на плоскую поверхность одного из бревен и начала протискиваться в дыру.

Сделать это было крайне непросто. У меня ушло много времени, но в конце концов, после нескольких безуспешных попыток, мне удалось проникнуть туда, и я поползла во тьму, как

сказочный тролль.

Земля под моими босыми ногами была приветливой, хотя и холодной. Я подумала о том, сколько воды утекло с тех пор, как конкретно этот кусок почвы мог погреться на солнышке.

Затем, постепенно подтаскивая тяжелые, покрытые пылью поленья все ближе и ближе, я заложила ими вход в мою пещеру. Тьма была на ощупь толстой, как бархат. Я потянулась за флаконом и стаканом и на четвереньках и нагнув голову поползла в самый дальний угол.

Паутина, нежная, как мотыльки, касалась моего лица. Разложив на земле черный плащ, как будто свою собственную тень, я открутила колпачок с флакона и проглотила таблетки, одну за другой, запивая каждую небольшим глотком воды.

Сперва я вроде бы ничего не почувствовала, но когда во флаконе обнажилось дно, у меня перед глазами поплыли красные и синие круги. Флакон выскользнул у меня из рук, и я легла навзничь.

Наступило безмолвие, вобравшее в себя шорох гальки, шум раковин и грохот всех кораблекрушений моей жизни. И затем, уже на обрыве сознания, безмолвие отворило мне свои врата, и, предаваясь его могучей приливной волне, я заснула.

Было совершенно темно.

Я ощущала только тьму — только тьму и ничего другого, — и голова моя поднялась во тьме, ощущая ее, как головка червя. Кто-то тихонько плакал. Затем тяжелый и жесткий удар пришелся мне по щеке, обрушившись на нее, как каменная стена, и плач прекратился.

Молчание восстановилось, его поверхность разгладилась, как разглаживается поверхность озера после того, как брошенный в воду камень пойдет на дно.

Зашумел холодный ветер. Меня переносили куда-то подземным туннелем, причем на чудовищной скорости. Затем ветер прекратился. На расстоянии послышался какой-то неясный ропот, как будто сотни голосов сразу выражали негодование и протест. Затем замолкли и голоса.

По моему глазу провели резцом, и в возникшую щель пробилась полоска света, как будто раскрылись уста или рана, а потом тьма вновь сомкнула надо мной свой полог. Я попыталась откатиться в сторону, противоположную той, откуда лился свет, но руки были намертво прикручены у меня к телу, и я не в силах была даже пошевелиться.

Мне начало казаться, что я очутилась в подземном царстве, залитом слепящими огнями, и что помещение, в котором я нахожусь, полно народу, и что все эти люди по какой-то причине удерживают меня в неподвижности.

Затем резец ударил вновь, и свет ворвался мне в череп, и сквозь толстую, мокрую, глухую тьму чей-то голос прокричал:

— Мама!

* * *

Воздух дышал и играл на моем лице.

Я почувствовала, что пространство вокруг меня приобретает очертания какого-то помещения, какого-то большого помещения с распахнутыми окнами. Подушка мягко поддавалась тяжести моей головы, а тело, не испытывая никакого напряжения, скользило между тонкими простынями.

Затем я почувствовала, как тепло, подобно чьей-то мягкой руке, упало мне на лицо. Должно быть, я лежала на солнце. И наверно, стоит мне открыть глаза, и я увижу, как краски и контуры толпятся и наклоняются надо мной, как сиделки.

Я открыла глаза.

Было совершенно темно.

Рядом с собою я почувствовала чье-то дыхание.

— Я ничего не вижу, — произнесла я.

Кроткий голос из тьмы ответил мне:

— На свете полным-полно незрячих людей. И когда-нибудь ты выйдешь замуж за какого-нибудь замечательной души слепца.

* * *

Человек с резцом опять подошел ко мне.

— Стоит ли так стараться, — сказала я. — Это ведь совершенно бессмысленно.

— Не надо так говорить.

Его пальцы ощупали огромную шишку у меня под левым глазом. Она страшно болела. Затем он что-то такое сделал, и полоска света возникла вновь, как дыра в глухой стене. Рука этого человека ощупала края дыры.

— Вы меня видите?

— Вижу.

— А еще что-нибудь видите?

Тут я опомнилась:

— Я вообще ничего не вижу.

Щель сузилась, и ее заволокла тьма.

— Я слепая.

— Глупости! Кто вам такое сказал?

— Сиделка.

Этот человек хмыкнул. Он вернул повязку мне на глаз и закрепил ее.

— Вам здорово повезло. Ваше зрение в полном порядке.

* * *

— К вам посетители. — Сиделка широко улыбнулась и исчезла.

Мать, в свою очередь широко улыбаясь, подошла к изножью моей кровати. На ней было платье с рисунком в виде красных колес, и выглядела она просто чудовищно.

За ней вошел крупный и довольно здоровый парень. Сперва я не смогла сообразить, кто это, потому что глаза мои раскрывались не на всю ширину, но затем поняла, что это мой брат.

— Мне передали, что ты хочешь со мной повидаться.

Мать села на краешек постели и положила руку мне на бедро. Она была вся любовь и раскаяние, и мне страшно хотелось, чтобы она побыстрее убралась к чертям собачьим.

— Я никому ничего не говорила.

— Мне передали, что ты меня звала. — Она, казалось, вот-вот была готова расплакаться. Ее лицо надулось и задрожало, как бледная медуза.

— Ну, как ты? — спросил брат.

Я посмотрела матери прямо в глаза:

— Без изменений.

* * *

— К вам посетители.

— Не хочу никаких посетителей.

Сиделка выскользнула из палаты и зашептала с кем-то у входа.

Затем вернулась:

— Но он настаивает.

Я поглядела на свои желтые ноги, торчащие из непривычно белой шелковой пижамы, в которую тут меня облачили. Стоило мне пошевелиться, как кожа начинала трястись, словно в ногах не осталось мышц. И, кроме того, они были покрыты короткой, однако же густой черной щетиной.

— А кто это?

— Один ваш знакомый.

— А как его звать?

— Джордж Бейквелл.

— Знать не знаю никакого Джорджа Бейквелла.

— А он говорит, что вы с ним знакомы.

Затем сиделка вновь вышла, а в палате появился парень с чрезвычайно знакомой мне физиономией. Войдя, он сказал:

— Не возражаешь, если я присяду на край кровати? Он был в белом халате, и из кармана у него торчал стетоскоп. Я решила, что это какой-нибудь мой знакомый нарядился как доктор.

Я собиралась прикрыть ноги, если в палате появится кто-нибудь посторонний, но сейчас делать это было уже слишком поздно, поэтому я оставила их торчать наружу — отвратительные, уродливые. «Это ведь я, — сказала я самой себе. — Вот такая я и есть на самом деле».

— Ты ведь узнала меня, верно, Эстер?

Я всмотрелась ему в лицо сквозь щель здорового глаза. Другой глаз еще не открывался, но доктор уверил меня, что и с ним через несколько дней все будет в порядке.

Парень смотрел на меня так, словно я была каким-то экзотическим животным, только что доставленным в местный зоопарк, и, казалось, едва удерживался, чтобы не расхохотаться.

— Ты ведь узнала меня, верно, Эстер? — Парень говорил медленно, с расстановкой, как будто беседовал с малолетней дурочкой. — Я Джордж Бейквелл. Мы ходим с тобой в одну церковь. Однажды у тебя было свидание с моим соседом по Амхерсту.

Теперь мне показалось, что я узнаю его. Его лицо всплыло в тумане на самом краю памяти — одно из тех лиц, с которыми мне никогда не хотелось ассоциировать какое бы то ни было имя.

— А что ты здесь делаешь?

— Я работаю в этой больнице.

Каким образом ухитрился этот Джордж Бейквелл так быстро стать доктором? Я не могла в это поверить. И собственно говоря, мы не были с ним по-настоящему знакомы. Он просто решил взглянуть на девицу, достаточно спятившую для того, чтобы решиться на попытку самоубийства.

Я отвернулась к стене.

— Убирайся отсюда, — сказала я ему. — Убирайся и не вздумай возвращаться.

* * *

— Мне нужно зеркало.

Медсестра засуетилась, открывая один ящик за другим, затем перерыла ченый кожаный чемодан, в котором мать принесла накупленные ею для меня блузки, юбки, пижамы и нижнее белье, — но все без толку.

— Почему мне не дают зеркало?

Меня одели в платье в серо-белую полоску, похожее на обивку матраса, подпоясали широким ярко-красным кушаком и усадили в кресло.

— С какой это стати?

— Потому что вам не стоит в него смотреться.

Медсестра закрыла чемодан, и он захлопнулся с легким щелчком.

— Почему это?

— Потому что вы не слишком хорошо выглядите.

— Все равно, хочу в этом убедиться сама.

Медсестра, вздохнув, раскрыла верхний ящик стола. Она достала оттуда большое зеркало в деревянной раме того же цвета, как стол, и протянула его мне.

Сперва я не могла сообразить, что за беда приключилась. Зеркало оказалось не зеркалом, а картиной.

На картине было изображено существо непонятного пола — не то женщина, не то мужчина, волосы у него были выбриты наголо и только кое-где на голом черепе торчали клочья, похожие на цыплячий пух. Половина лица у этого существа была пурпурно-красного цвета, причем опухшая и бесформенная, по краям этой опухлости красный цвет переходил в зеленый и в красно-желтый. Рот у этого существа был темно-коричневым, и розовые полосы шли от обоих углов губ.

Самым ошеломительным в этом лице была сверхъестественная концентрация ярких, контрастных красок.

Я улыбнулась.

Харя на картинке расползлась в кривой ухмылке.

Через минуту после того, как раздался оглушительный грохот, в палату ворвалась другая медсестра. Она бросила взгляд на разбитое зеркало и на меня, стоящую посреди слепых белых осколков, и поспешила увести свою младшую напарницу за дверь.

— Я же говорила тебе, — донесся до меня ее рассерженный голос.

— Но я только...

— Я же тебе говорила!

Я слушала с определенным интересом. Кто угодно может нечаянно уронить зеркало. Я не понимала, почему они так раскудахтались.

Старшая из сестер вернулась в палату. Она встала напротив меня, сложив руки на груди, и сердито на меня посмотрела.

— Теперь семь лет счастья не будет.

— Что?

— Я сказала, — медсестра повысила голос, как будто разговаривала с глухою, — что теперь семь лет счастья не будет.

Младшая медсестра вернулась с веником и совком и принялась подметать сверкающие осколки.

— Это предрассудок, — сказала я.

— Да что с ней разговаривать! — Старшая медсестра обращалась теперь к своей ползающей по полу напарнице, как будто меня здесь и не было. — Сама знаешь, куда ее поместят. Там уж они с ней разберутся.

* * *

Через заднее стекло кареты скорой помощи мне было видно, как мелькает одна знакомая улица за другой, купаясь в летней зелени.

Моя мать сидела от меня с одной стороны, а брат — с другой.

Я делала вид, будто не понимаю, почему они решили перевести меня из клиники в нашем городке в бостонскую больницу. А им было тут со мною не справиться.

— Тебя хотят поместить под особый надзор, — сказала мне мать. — А такой надзор нельзя обеспечить в нашей больнице.

— Но мне там нравилось.

У матери чуть напрягся рот:

— Тогда тебе следовало там лучше себя вести.

— А что такое?

— Не надо было бить зеркало. Тогда они, возможно, решили бы тебя у себя оставить. Но, разумеется, я прекрасно понимала, что дело вовсе не в зеркале.

* * *

Я сидела в постели, укрывшись одеялом до самого подбородка.

— А почему мне нельзя встать? Я ведь не больна.

— Обход, — сказала сиделка. — Тебе будет разрешено встать после обхода.

Она откинула занавеску, за которой была кровать моей соседки, и взору предстала толстая молодая итальянка.

У итальянки были пышные черные волосы, ниспадавшие тугими колечками по всей спине. Ее прическа наводила на мысль о горах или о водопаде. Стоило ей шевельнуться, как вслед за ней трогались с места и все ее волосы, как будто изготовленные из черного картона.

Посмотрев на меня, итальянка хихикнула:

— Чего это тебя сюда упрятали? — И, не дожидаясь ответа, продолжила: — Меня посадила сюда свекровь. Она француженка из Канады. — Она хихикнула вновь. — Мой муж знает, что я ее просто не перевариваю, и все равно разрешает ей наносить нам визиты, а стоит ей прийти, у меня ум за разум заходит и язык вываливается изо рта. Они вызвали «скорую», а та привезла сюда. — Она понизила голос. — Ко всем этим шизикам. Ну, а тебя-то они чего упрятали?

Я повернулась к ней в фас, продемонстрировав пурпурную половину лица и затекший зеленым глаз.

— Я пыталась покончить с собой.

Итальянка ошарашенно уставилась на меня. Затем в нарочитой спешке схватила с ночного столика журнал и притворилась, будто читает.

Дверь, расположенная прямо напротив моей кровати, распахнулась, и в палату вошла большая компания юношей и девушек в белых халатах, ведомая седовласым пожилым мужчиной. Все они лучились ослепительными, фальшивыми улыбками. И, улыбаясь, столпились в ногах моей постели.

— Как вы себя чувствуете сегодня, мисс Гринвуд?

Я попробовала определить, который из них ко мне обратился. Терпеть не могу разговаривать с целой кучей народу сразу. И всякий раз в таком случае мне приходится выбирать себе одного собеседника из всей оравы, и я чувствую, как остальные пялятся в это время на меня и, пользуясь своей анонимностью, стараются объегорить. И терпеть не могу, когда спрашивают: «Как вы себя чувствуете?» — зная, что чувствуешь себя паршиво, и ожидая услышать в ответ: «Спасибо, хорошо».

— Паршиво.

— Паршиво. Ну что ж, — произнес один из них, а другой покачал головой, слегка улыбаясь. А кто-то третий начал писать мелом на доске.

Затем один из них придал своему лицу солидное и как бы торжественное выражение и спросил:

— А почему вы чувствуете себя паршиво?

Мне пришло на ум, что кое-кто из этих головастых парней и девиц вполне может дружить с Бадди Уиллардом. И тогда они знают о нашем знакомстве, и, выходит, им любопытно посмотреть на меня, чтобы вслед за тем вдосталь обо мне посплетничать. Мне хотелось бы

попасть в такое место, где меня не смог бы отыскать никто из знакомых.

— Я не могу заснуть...

Они не дали мне закончить жалобу.

— Но сиделка утверждает, что нынешней ночью вы прекрасно спали.

Надо мной склонились здоровые физиономии совершенно посторонних мне людей.

— Я не могу читать. — Я повысила голос. — Я не могу есть.

И тут я вспомнила, что с самого прибытия сюда жадно поглощаю все, что мне дают.

Мои целители отвернулись от меня и начали о чем-то шептаться. Наконец седовласый сделал шаг по направлению к моему ложу:

— Благодарю вас, мисс Гринвуд. Сейчас мы с вами простимся, но вы остаетесь под постоянным наблюдением врачебного коллектива.

И все они перешли к кровати, на которой лежала итальянка.

— А как вы себя сегодня чувствуете, миссис... — начал кто-то из них, и имя прозвучало длинно, с великим множеством звуков «л», нечто вроде «миссис Томоллилло».

Миссис Томоллилло захихикала:

— Ох, доктор, просто прекрасно. Совершенно прекрасно.

Затем она понизила голос и прошептала что-то, чего я не смогла разобрать. Кое-кто из ее слушателей бросил при этом взгляд в моем направлении. А кто-то сказал:

— Все будет в порядке, миссис Томоллилло.

А кто-то другой задернул белую штору возле ее кровати, словно бы разделяя нас белой стеной.

* * *

Я сидела на самом краешке деревянной скамьи на газоне в больничном саду, обнесенном четырьмя кирпичными стенами. Моя мать в красном платье с нелепым узором сидела на другом конце скамейки. Она сидела, уронив лицо на руки, указательный палец касался щеки, а большой подпирал подбородок.

Миссис Томоллилло сидела на соседней скамье с какими-то темноволосыми, постоянно смеющимися итальянцами. Каждый раз, стоило моей матери пошевелиться, итальянка передразнивала ее.

Сейчас миссис Томоллилло сидела с указательным пальцем на щеке и с большим — под подбородком. Ее голова безутешно качалась из стороны в сторону.

— Не шевелись, — прошептала я матери. — Эта женщина передразнивает тебя.

Мать повернулась и посмотрела на соседнюю скамейку, но миссис Томоллилло моментально опустила свои жирные белые ручки, сложила их на коленях и начала быстро и, должно быть, бессвязно рассказывать что-то своим друзьям.

— Ну что ты, — сказала мать. — Какое там передразнивает. Она не обращает на нас ни малейшего внимания.

Но в ту же минуту, как мать повернулась ко мне лицом, миссис Томоллилло спародировала ее предыдущую позу и посмотрела на меня насмешливо и недоброжелательно.

Весь газон цвел белыми халатами. В халатах обитали доктора.

Все время, пока мы с матерью сидели здесь, греясь на солнышке, лучи которого падали на нас из-за высоких кирпичных стен, доктора один за другим подходили ко мне и торопились представиться: я доктор такой-то. А я доктор такой-то.

Некоторые из них были настолько молоды, что я понимала: никто из них не может

оказаться настоящим доктором, а у одного из них было крайне неприличное имя, что-то вроде доктор Сифилис, так что мне пришлось прислушаться к тому, о чем они говорят, чтобы выявить подозрительно звучащие и, следовательно, фальшивые имена, — и действительно, вскоре один из них, темноволосый молодой человек, внешне очень похожий на доктора Гордона, если не считать того, что он был негром, а доктор Гордон белым, подошел ко мне, пожал руку и отрекомендовался:

— Доктор Панкреатит.

Представившись, доктора отходили чуть в сторону, но так, чтобы им было слышно отсюда каждое наше слово, и я не могла сообщить матери, что они нас подслушивают, потому что им удалось бы подслушать и это; поэтому я придвинулась к ней и зашептала на ухо.

Мать резко отпрянула:

— Знаешь, Эстер, тебе надо им помогать. Они говорят, что ты не хочешь им помогать. Они говорят, что ты ни с кем из них не желаешь разговаривать и не принимаешь участия в сеансах групповой терапии...

— Мне нужно отсюда выбраться, — втолковывала я ей. — И тогда со мной будет все в порядке. Ты ведь меня сюда упрятала. А теперь давай вызволяй.

Мне казалось, что стоит мне добиться своего, то есть выбраться отсюда и остаться наедине с нею, и я смогу, вызывая к ее чувству жалости, уговорить ее обойтись со мной так, как мать этого душевнобольного из пьесы обошлась со своим сыном, — прикончить, и точка.

К моему удивлению, мать не воспротивилась:

— Хорошо, я постараюсь забрать тебя отсюда. И, может быть, перевести в больницу получше. Но если мне удастся вызволить тебя окончательно, ты обещаешь, что будешь хорошо себя вести? — И, произнося это, она положила руку мне на колено.

Я сплюнула наземь и, подняв голову, посмотрела прямо в глаза доктору Сифилису, который стоял буквально рядом со мной и что-то писал в крошечном, едва ли не игрушечном блокнотике.

— Обещаю, — сказала я громким голосом заговорщицы.

* * *

Негр вкатил столик на колесиках в больничную столовую. Психиатрическое отделение в городской клинике было очень маленьким: два коридора в форме латинской буквы L, вдоль которых размещались палаты, ниша за кабинетом общей терапии, в которой стояло несколько кроватей, и в том числе моя, и небольшое помещение со столом и стульями у окна, служившее нам гостиной и столовой.

Обычно пищу нам привозил морщинистый белый старик, но сегодня к нам прислали негра. Его сопровождала женщина в туфлях на шпильках. Вернее, не столько сопровождала, сколько распорядилась. Негр повиновался ей, но на губах у него играла идиотская ухмылочка, и он вдобавок все время что-то мурлыкал.

Негр подошел к нашему столу, держа в руках поднос с тремя металлическими супницами, каждая из которых была покрыта крышкой. Он принялся выставлять эти миски на стол, отчаянно грохоча ими. Женщина покинула помещение и заперла за собой дверь. Все время, пока негр грохотал мисками, столовыми приборами и толстыми белыми фарфоровыми тарелками, он не сводил с нас огромных круглых глаз.

Я могла поклясться, что он впервые в жизни столкнулся с шизиками.

Никто из нас не шевельнул и пальцем, чтобы снять крышки с супниц, а санитар отступил в сторону, и медсестра тоже. Ее интересовало, справимся ли мы с такой задачей, или ей придется

делать это самой. Обычно супницы открывала и еду раскладывала по тарелкам миссис Томоллилло, преисполненная своего рода материнским инстинктом, но теперь ее уже выписали, и никто не спешил принять эстафету.

Я была зверски голодна, поэтому я подняла крышку с одной из кастрюль.

— Это чрезвычайно любезно с твоей стороны, Эстер, — сияя, произнесла медсестра. — А не пустишь ли ты заодно по кругу и зеленый горошек?

Я выловила себе зеленый горошек и потянулась передать супницу рыжей женщине гигантского роста, сидевшей от меня справа. Сегодня ее в первый раз подпустили к общему столу. Я уже как-то раз видела ее мельком, сквозь раскрытую дверь одной из палат в самом конце коридора. Окно в ее комнате, маленькое и квадратное, было забрано решеткой.

Она самым нелепым образом визжала, и хохотала, и призывно помахивала бедрами навстречу проходящим врачам, и смотритель в белой куртке, которому положено было следить за порядком в этом конце отделения, глядя на нее, прислонился к радиатору и чуть не спятил от смеха.

Рыжая выхватила у меня супницу и опрокинула ее над своей тарелкой. Горошек вывалился не только туда, но и ей на колени и на пол и покатился по нему, как какие-нибудь зеленые шарики.

— Ах, миссис Моол, — грустно сказала медсестра. — Думаю, вам сегодня лучше пообедать у себя в палате.

Она собрала большую часть рассыпавшегося горошка в миску и передала ее соседке миссис Моол. А саму миссис Моол повела прочь. Всю дорогу по коридору, до своей палаты, рыжая оборачивалась, и строила нам рожи, и издавала неприличные звуки.

Негр подошел и принялся собирать посуду. Причем забирал он пустые тарелки у тех, кому вовсе никакого горошка не досталось.

— Мы еще едим, — сказала я ему. — Вам придется подождать.

— Ой, какие мы важные!

Негр насмешливо уставился на меня. Потом быстро огляделся по сторонам. Медсестра еще не вернулась от миссис Моол. Негр отвесил мне оскорбительный поклон.

— Мисс Пис-пис, — пробормотал он сквозь зубы.

Я сняла крышку со второй кастрюли и обнаружила там макароны, холодные и склеенные какой-то липкой пастой.

Третья — и последняя — супница была доверху полна вареными бобами.

Я совершенно ясно осознавала, что никогда и никто не дает бобы и горошек в течение одной трапезы. Бобы и морковь — извольте, бобы и фасоль — и то куда ни шло, но бобы и горошек — ни за что на свете. Дрянной негр просто решил над нами поиздеваться.

Медсестра вернулась, и негр поспешил удалиться от стола на подобающее расстояние. Я наелась вареных бобов до отвала. Затем встала из-за стола, прошла туда, где меня не было видно медсестре, очутилась за спиной у негра, который, чуть наклонившись, мыл грязную посуду, и со всей силы заехала ему ногой по задку.

Негр с жалобным воплем отлетел в сторону, а затем, выкатив свои дурацкие глаза, на меня уставился.

— Да что же, мисс, что же это такое, мисс... — запричитал он, потирая ушибленное место. — За что ж это вы меня, за что ж это вы, за что ж...

— Ты это заслужил, — сказала я и посмотрела ему прямо в глаза.

— А вставать ты сегодня не собираешься?

— Не собираюсь.

Я поглубже зарылась под одеяло, натянула на голову простыню. Затем откинула ее край и посмотрела наружу. Медсестра встряхивала градусник, только что вынутый у меня изо рта.

— Температура нормальная. — Я, как всегда, успела посмотреть на градусник, прежде чем отдать ей его. — Температура нормальная, чего же ее все время мерить и мерить?

Я хотела было сказать ей, что если бы у меня было что-нибудь не в порядке с телом, это оказалось бы замечательно, потому что куда лучше иметь телесную болезнь, чем психическую, но для этого мне пришлось бы произнести слишком длинную и слишком утомительную фразу, поэтому я, не сказав ни слова, зарылась в постель еще глубже.

Затем сквозь тонкую простыню я ощутила легкое, но неприятное давление на мою правую ногу. Я высунулась из своего убежища. Медсестра поставила на меня поднос с термометрами, а сама отвернулась, чтобы пощупать пульс у моей ближайшей соседки, лежащей на той кровати, в которой ранее пребывала миссис Томоллилло.

Я почувствовала, как меня охватывает легкая злобредность, раздражающая и притягательная одновременно, вроде как боль в шатающемся зубе. Я зевнула, потянулась, как будто собираясь перевернуться с боку на бок, и сбила поднос на пол.

— О Господи! — Крик медсестры прозвучал, как призыв о помощи, поэтому в палату примчалась и ее напарница. — Посмотри, что ты наделала!

Я высунула голову из своего простынного панциря и поглядела на пол. Вокруг перевернутого эмалированного подноса звездочками блистали осколки разбитых градусников и ядовитой росой дрожали ртутные шарики.

— Извините, — сказала я. — Я нечаянно.

Вторая медсестра мрачно уставилась на меня:

— Ты это сделала нарочно. Я тебя застукала.

Затем она довольно поспешно вышла из палаты, и почти сразу же вслед за этим пришли двое смотрителей и покатали меня в кровати на колесиках и со всем скарбом в то помещение, где раньше пребывала миссис Моол. Но перед тем я ухитрилась прихватить шарик ртути.

Вскоре после того, как они, заперев меня, ушли, я увидела в зарешеченном оконце на двери физиономию негра, цвета черной патоки, но притворилась, будто ничего не заметила.

Я чуть приоткрыла кулачок, как ребенок, играющий со своею тайной, и полюбовалась на серебряный шарик, перекатывающийся по ладони. Стоит мне уронить его, и он разобьется на миллион своих собственных точных копий. Но если собрать их вновь, они сольются в точно такой же шар, каким были прежде.

Я любовалась, и любовалась, и любовалась им.

Я не могла представить себе, как они сумели разобраться с миссис Моол.

Черный лимузин Филомены Гвинеа скользил по переполненным транспортом в пять часов вечера улицам, как церемониальный экипаж. Уже оставалось ждать совсем недолго: скоро мы въедем на один из коротких мостов, перекинутых через реку, и я без раздумий открою дверцу, вырвусь наружу и, огибая машины, рванусь к парапету моста. Прыжок — и воды сомкнутся над моей головой.

Машинально рвала я в клочья бумажную салфетку, стараясь не упустить своего шанса. Я находилась на заднем сиденье посередине: с одного боку была мать, а с другого — брат, и оба сидели чуть наклонясь вперед, образуя своими телами диагональные барьеры между мной и соответственно обеими дверцами.

Прямо перед собой я видела налившуюся кровью шею водителя, казавшуюся куском ветчины, зажатым двумя половинками синей булочки — синей кепкой и воротником синей джинсовой куртки, — а рядом с ним, подобно хрупкой экзотической птице на своей веточке, восседала знаменитая писательница Филомена Гвинеа. Ее серебрино-седые волосы были увенчаны шляпкой с изумрудного цвета пером.

Я не могла взять в толк, чего это миссис Гвинеа полезла в мое дело. Единственное, что мне было известно, заключалось в ее внезапном интересе ко мне и в том, что она сама на вершине своей литературной славы ухитрилась однажды угодить в дурдом.

Мать сообщила мне, что миссис Гвинеа прислала ей телеграмму с Багамских островов, там она прочитала обо мне в бостонской газете. В телеграмме был задан вопрос: «Замешан ли в это дело какой-нибудь юноша?»

Если бы в это дело оказался замешан какой-нибудь юноша, миссис Гвинеа, разумеется, и палец о палец бы не ударила.

Однако моя мать телеграфировала ей в ответ: «Нет, все дело в ее писательстве. Эстер считает, что никогда больше ничего не сможет написать».

И тогда миссис Гвинеа прилетела с Багамских островов в Бостон, выцарапала меня из чудовищной городской больницы и сейчас везла в «изумительную» частную клинику, в которой был сад с аллеями и лужайки для игры в гольф, как в настоящем загородном клубе, и куда она собиралась поместить меня за свой собственный счет — так, словно я получила от нее стипендию, — до тех пор, пока доктора, с которыми она была превосходно знакома, не приведут меня в полный порядок.

Мать сказала мне, что миссис Гвинеа можно только поблагодарить. Она добавила, что уже угрохала на мое лечение почти все свои деньги и что, если бы не помощь миссис Гвинеа, она бы просто не знала, как быть дальше. И что бы тогда со мною стало. Но я-то знала, что бы тогда со мною стало. Я попала бы в большую больницу штата, и там бы мне показали, где раки зимуют. Частная клиника по сравнению с этим выглядела курортом.

Я знала, что мне следовало испытывать к миссис Гвинеа чувство благодарности, но на самом деле не чувствовала ничего. Да и если бы миссис Гвинеа вместо частной клиники устроила мне путешествие в Европу или какой-нибудь кругосветный круиз, это тоже ровным счетом ничего не меняло бы, потому что, где бы я ни очутилась — на палубе теплохода или в уличном кафе Парижа или Бангкока, — я и там пребывала бы под все тем же стеклянным колпаком и дышала бы только отравленным мною самой воздухом.

Синее небо безмятежно вздымало соборный купол над рекой, гладь которой была усеяна парусами. Я изготовилась было рвануться наружу, но именно в это мгновение мать и брат схватились каждый за свою дверную ручку.

Колеса быстро прокатились по металлической решетке моста. Вода, паруса, синее небо и чайки с распростертыми крыльями промелькнули мимо, как открытка с каким-нибудь фантастическим пейзажем, и мы проехали.

Я откинулась на спинку серого плюшевого сиденья и закрыла глаза. Воздух, скопившийся под стеклянным колпаком, душил меня, и я не могла пошевелиться.

* * *

У меня опять была отдельная палата.

Она напомнила мне палату в клинике доктора Гордона: кровать, письменный стол, шкаф, столик и кресло. Окно с тяжелой шторой, но без решетки. Моя палата помещалась на первом этаже, и окно, расположенное низко от крашеного в елочку пола, открывало вид на поросший деревьями дворик, окруженный красной кирпичной стеной. Если я выброшусь отсюда, я даже коленок не ушибу. Высокая стена казалась гладкою, как зеркало.

Поездка по мосту вывела меня из душевного равновесия.

Я упустила великолепный шанс. Речная гладь осталась в моей памяти, как бокал с напитком, которого не удалось попробовать. И я подозревала себя в том, что, даже не будь рядом со мною матери и брата, у меня все равно не хватило бы решимости на то, чтобы прыгнуть.

Когда мы оказались в административном корпусе клиники, ко всей компании подошла стройная женщина и представилась нам:

— Меня зовут доктор Нолан. Я лечащий врач Эстер.

Это явилось для меня сюрпризом. Я и не подозревала, что психиатрами бывают и женщины. А эта особа представляла собой нечто среднее между Мирной Лой и моей матерью. На ней была белая блузка и широкая юбка, схваченная в талии широким кожаным ремнем. Докторша носила большие очки модной формы.

Но после того, как сиделка отвела меня через сад в мрачное кирпичное здание, которое здесь почему-то называлось «Капланом» и в котором мне предстояло жить, доктор Нолан не пришла проведать меня. Зато вместо нее пришла уйма какого-то странного народу.

Я лежала на кровати под толстым белым одеялом, а они заходили в палату один за другим и знакомились со мною. Я не могла понять, почему их должно быть так много и почему им так хотелось со мной познакомиться, и заподозрила, что они проверяют меня, испытывают, чтобы выяснить, замечу ли я, что их чересчур много. И от всего этого я изрядно устала.

Самым последним зашел приятной внешности седой человек и сообщил мне, что он директор клиники. Затем он пустился в рассуждения о паломниках, и индейцах, и о том, к кому перешли здешние края от индейцев, и что за реки текут поблизости, и кто основал эту клинику, и как она сгорела, и кто отстроил ее после пожара, и так далее, — и в конце концов мне пришлось в голову, что он провоцирует меня на то, чтобы я прервала его рассказы и объявила, будто считаю эту ерунду о паломниках и реках именно ерундой.

Но потом я подумала, что кое-какие детали из его истории могут оказаться подлинными, и решила поэтому попытаться определить сама, что в них было правдой, а что нет, но прежде чем успела сделать это, он со мною простился.

Я подождала, пока голоса всех докторов не замерли вдалеке. А потом скинула одеяло, вылезла из постели, обулась и вышла в холл. Никто не останавливал меня, так что я свернула за угол, пошла по одному коридору, потом по другому, более длинному, причем миновала открытую больничную столовую.

Девушка в зеленом фартуке сервировала обед. Столы были покрыты чистыми скатертями, на них стояли бокалы и лежали салфетки. Тот факт, что здесь были настоящие бокалы, я отложила в своем сознании про запас — примерно так, как белка откладывает орехи. В городской больнице мы пили из бумажных стаканчиков и вынуждены были управляться с едой без помощи ножа. Правда, мясо вечно было настолько переварено, что его можно было разламывать вилкой.

В конце концов я очутилась в довольно просторном помещении с обшарпанной мебелью и с ковровой дорожкой на полу. В кресле передо мной сидела какая-то девушка с круглым здоровым личиком и коротко стриженными черными волосами. Она читала журнал и показалась мне похожей на вожатую гёрлскаутов. Причем на ту вожатую, которая была когда-то у нас в отряде. Я посмотрела ей на ноги и, конечно же, обнаружила плоские коричневые тенниски с высунутыми наружу белыми язычками, которые почему-то слывут ужасно спортивными, а концы шнурков были увенчаны какими-то украшениями.

Девушка подняла голову, посмотрела на меня и улыбнулась:

— Меня зовут Валерия. А тебя?

Я сделала вид, будто не расслышала ее вопроса, и проследовала по холлу в другое крыло здания. По дороге я прошла мимо двери с окошечком. За дверью сидело несколько медсестер.

— А куда все делись?

— Ушли.

Сестра писала что-то на клочках пластыря, напоминающих по виду рецепты. Я просунулась в окно, чтобы разобрать, что она пишет, и обнаружила, что это моя фамилия: Э. Гринвуд, Э. Гринвуд, Э. Гринвуд.

— Куда ушли?

— Да кто куда. На общую терапию, на гольф, на бадминтон.

На стуле, стоявшем рядом с тем, на котором сидела медсестра, я заметила ворох одежды. Это были те же самые наряды, которые сиделка в той больнице, где я была раньше, укладывала в кожаный чемодан, когда я грохнула наземь зеркало. Сестра принялась пришивать метки к предметам туалета.

Я вернулась в то помещение, где сидела девушка с журналом. Я не могла взять в толк, что тут за пациентки такие, если они играют в гольф и бадминтон. Их, наверно, и больными-то по-настоящему назвать нельзя.

Я села в кресло рядом с Валерией и пытливо посмотрела на нее. Да, сидит, ни дать ни взять, как будто и впрямь в скаутском лагере. И с откровенным интересом читает затрепанный номер журнала «Вог».

«Какого черта она здесь сидит? — подумала я. — Ей-то уж точно в дурдоме делать нечего».

* * *

— Не возражаете, если я закурю?

Доктор Нолан откинулась в кресле. Кресло стояло у изголовья моей кровати.

Я ответила, что не возражаю, мне нарвится запах дыма. Я подумала, что, если доктор Нолан закурит, она, очевидно, задержится у меня подольше. Сейчас она впервые пришла сюда, чтобы поговорить со мной. А когда уйдет, я вновь впаду в свое бессмысленное и пустое безмолвие.

— Расскажите мне о докторе Гордоне, — неожиданно произнесла она. — Он вам понравился?

Я искоса посмотрела на нее. Я была убеждена в том, что все доктора всегда заодно и к тому же один другого стоят и что где-то здесь, в больнице, в каком-нибудь потаенном месте

наверняка есть какая-нибудь страшная электроштука вроде той, что у доктора Гордона, и меня в любой момент могут к ней подключить.

— Нет. Абсолютно не понравился.

— Вот как! Это интересно. А почему же?

— Мне не понравилось то, что он со мной сделал.

— Сделал?..

Я рассказала доктору Нолан об этой электроштуке, и о синих вспышках, и о проводах, и о грохоте. Все время, пока я рассказывала, она просидела, не шелохнувшись.

— Произошла ошибка, — объявила она затем. — Ничего подобного не должно было быть.

Я в недоумении уставилась на нее.

— Когда шоковую терапию проводят надлежащим образом, весь процесс похож на спокойное погружение в сон.

— Если со мной еще раз такое проделают, я покончу с собой.

Доктор Нолан уверила меня:

— Здесь вам шоковую терапию не пропишут. — И тут же добавила: — А если и пропишут, то я объявлю вам об этом заранее и, ручаюсь, вы не испытаете неприятных ощущений типа тех, что вам довелось претерпеть. Да что там, — объявила она, — некоторым это даже приходится по вкусу.

После того как доктор Нолан ушла, я обнаружила на подоконнике спичечный коробок. Этот коробок не был похож на те, что мне попадались до тех пор, — он был совершенно плоским. Я открыла его и увидела частокол маленьких белых спичек с алыми головками. Я попыталась чиркнуть спичкой, но она скрутилась у меня в руке.

Я не могла понять, с какой стати доктор Нолан вздумала оставить мне такую дурацкую штуковину. Может, она решила выяснить, верну ли я ей свою находку. Я аккуратно спрятала спички в карман моего нового шерстяного халата. Я решила, что, если доктор Нолан спросит о них, я скажу, что приняла их за конфеты и съела.

* * *

В соседней палате появилась новая пациентка.

Я решила, что, поскольку она единственная прибыла сюда позже меня, еще никто не успел разболтать ей, в каком скверном состоянии я пребываю. У остальных не было на этот счет уже никаких сомнений. Поэтому я решила пойти с ней познакомиться и, может быть, подружиться.

Женщина лежала на постели в ярко-красном платье, заколотом на груди брошью и доходившем ей примерно до щиколоток. Ее рыжие волосы были стянуты в пучок, как у школьницы, а из нагрудного кармана платья торчали очки в тонкой серебряной оправе.

— Привет, — сказала я для знакомства и присела на краешек ее кровати. — Меня зовут Эстер. А тебя?

Женщина не шевельнулась. Она продолжала тупо смотреть в потолок. Я почувствовала себя задетой. И решила, что, должно быть, Валерия или еще кто-нибудь все-таки сообщил ей, что я совершенная идиотка.

В дверь просунула голову медсестра:

— Ах, вот вы где! Зашли в гости к мисс Норрис. Как это мило с вашей стороны!

И она исчезла.

Не знаю, как долго я просидела в этой палате, наблюдая за женщиной в ярко-красном платье и размышляя над тем, разожмутся ли наконец ее пурпурные губки и если да, то какое

слово из них вырвется.

В конце концов, не заговорив со мной и даже на меня не взглянув, мисс Норрис высоко закинула ноги в черных шнурованных сапожках, как при этом выяснилось, выше колен, перекинула их через противоположный борт кровати, встала и вышла из комнаты. Я решила, что таким деликатным образом она захотела от меня избавиться. Не говоря ни слова и держась от нее на некотором расстоянии, я проследовала за ней в холл.

Мисс Норрис дошла до столовой и застыла у двери в нее. Весь путь до столовой она проделала чрезвычайно четко, на каждом шагу ставя ногу в самый центр капустного кочана, орнаментом из которых был украшен ковер. Немного выждав, она подняла одну ногу, затем вторую и вошла в столовую, словно переступив при этом через не видимое мне, но довольно высокое препятствие.

Она села за один из круглых, покрытых скатертями столов и разложила на коленях салфетку.

— До обеда еще целый час, — прокричала ей из кухни повариха.

Но мисс Норрис никак не отреагировала на это. Она довольно кротко и с совершенно отсутствующим видом глядела вдаль.

Я села за тот же стол, придвинулась к ней поближе и тоже разложила на коленях салфетку. Мы с ней так и не сказали друг другу ни слова, но просидели рядышком, в глубоком, замкнутом на нас обеих и на самом себе молчании, пока не зазвенел гонг, созывая больных к обеду.

* * *

— Ложитесь, — произнесла медсестра. — Нам предстоит еще один укол.

Я перевернулась на живот и задрала юбку. Затем приспустила штаны моей шелковой пижамы.

— Господи Боже мой, что же это вы такое надели?

— Пижаму. Чтобы не переодеваться все время. А то, знаете, не успеешь раздеться, как опять одевайся.

Сестра коротко хмыкнула:

— Ну, а в какой бочок?

Это была старая здешняя шутка.

Я подняла голову, обернулась и посмотрела на свои обнаженные ягодицы. Обе цвели красными, синими и зелеными пятнами от предыдущих уколов. Левая казалась еще более пострадавшей, чем правая.

— В правую.

— Как вам угодно.

Сестра воткнула в меня иглу, и я затрепетала, испытывая легкую боль. Трижды в день они кололи меня, а примерно через час после каждой инъекции давали мне стакан подслащенного фруктового сока и следили за тем, чтобы я его выпила.

— Везет тебе, — сказала Валерия. — Тебя посадили на инсулин.

— Я ничего не чувствую.

— погоди, почувствуешь. Со мной такое было. Потом смотри Расскажи.

Но я так вроде бы ничего и не почувствовала. Но зато начала толстеть. Все сильнее и сильнее. Новые просторные, чересчур просторные, вещи, купленные матерью, уже приходились мне впору, и, когда я рассматривала свой рыхлый живот и разбухшие бедра, я радовалась, что миссис Гвинеа не видит меня в таком состоянии, а то бы она, чего доброго, решила, что я

— Видела мои шрамы?

Валерия сдвинула со лба черную повязку и указала мне на две бледные отметины у обоих висков. Как будто какое-то время назад у нее начали расти рога, но затем она их срезала.

Мы с ней прогуливались по больничному саду в той его части, где размещались снаряды спортивной терапии. В последнее время меня все чаще и чаще удостаивали права на прогулку. А мисс Норрис не выпускали ни разу.

Валерия сказала, что мисс Норрис место не в «Каплане», а в корпусе для больных в куда худшем состоянии. Аборигены называли этот корпус «Уимарком».

— А знаешь, откуда у меня эти шрамы?

— Нет, не знаю. А откуда они?

— Мне сделали лоботомию.

Я не без почтения поглядела на Валерию, впервые обратив внимание на неизменную матовую бледность ее лица.

— Ну, и как ты себя чувствуешь?

— Превосходно. Я больше ни на кого не сержусь. Раньше я постоянно на всех сердилась. И меня держали в «Уимарке». А теперь я в «Каплане», и меня даже выпускают в город, за покупками или в кино, в сопровождении всего лишь одной медсестры.

— А чем ты собираешься заняться, когда выйдешь отсюда?

— А я не выйду, — рассмеялась Валерия. — Мне здесь нравится.

— На выход!

— С какой это стати на выход?

Сестра занималась своим делом: выдвигала и опустошала ящики моего письменного стола, извлекала содержимое из шкафа и укладывала мои вещи в черный чемодан.

Я решила, что меня в конце концов намерены перевести в «Уимарк».

— Да нет же, вас просто переводят в другое крыло. Ближе к главному входу. Вам там понравится. Там гораздо больше солнца.

Когда мы с ней вышли в холл, я обнаружила, что мисс Норрис тоже переезжает. Медсестра, такая же молодая и привлекательная, как и та, что управлялась со мной, стояла в дверях ее палаты, помогая мисс Норрис влезть в ярко-красное пальто с потрепанным беличьим воротником.

Долгие часы мне довелось провести возле постели мисс Норрис, жертвуя ради этого общей терапией, прогулками, игрой в бадминтон и даже еженедельными киносеансами, которые мне так нравились и на которые мисс Норрис не водили ни разу. Мне было интересно задумчиво смотреть на бледный и безгласный кружок ее губ. Я думала о том, как замечательно это будет, если она вдруг разверзнет уста и заговорит, а я брошусь в холл и оповещу об этом медсестер. Они похвалят меня за самоотверженность и моральную поддержку, оказанную несчастной, и тогда, возможно, и меня удостоят права отправляться в город за покупками или же в кинотеатр — вследствие чего мне проще станет сбежать отсюда.

Но за все часы моей одинокой вигилии мисс Норрис не проронила ни слова.

— Куда это тебя переводят? — спросила я у нее на этот раз.

Медсестра тронула мисс Норрис за локоть — и та сдвинулась с места и покатила вперед, как кукла на колесиках.

— Ее переводят в «Уимарк», — понизив голос, поведала мне хлопочущая обо мне медсестра. — К сожалению, мисс Норрис не идет на поправку. В отличие от вас.

Я увидела, как мисс Норрис поднимает одну ногу, потом вторую, словно переступая через невидимое препятствие.

— А у меня для вас сюрприз, — сказала мне медсестра, помогая обосноваться в солнечной комнате в передней части здания, из окна которой была видна лужайка для игры в гольф. — У вас тут будут друзья.

— Кто-нибудь, кого я знаю?

Медсестра рассмеялась:

— Только не глядите на меня так. Во всяком случае, это не полиция. — А затем, поскольку я ничего не отвечала, она добавила: — Это вроде бы ваша давнишняя приятельница. Ее поместили в соседней палате. Да почему бы вам самой к ней не зайти?

Я решила, что сестра шутит и что если я постучу в соседнюю дверь, то не услышу ответа, а войдя, обнаружу в палате мисс Норрис, лежащую на постели в ярко-красном с беличьим воротником пальто, с круглым ртом, помещенным в безмятежную вазу ее тела, как бутон бледной розы.

Так или иначе, я подошла к соседней двери и постучала в нее.

— Войдите! — Голос пациентки был резок и насмешлив.

Я приоткрыла дверь и сунула голову в щелку. Огромная, сильно смахивающая на лошадь деваха сидела у окна, повернув голову к двери. На лице ее играла широченная улыбка.

— Эстер! — Ее голос звучал так, как будто она только что на предельной скорости пробежала добрую милю и остановилась всего мгновение назад. — Как приятно видеть тебя! Мне сказали, что ты тут живешь.

— Джоан, — сказала я чуть ли не автоматически. И затем, смутясь и не веря собственным глазам, повторила: — Джоан?

Джоан улыбнулась еще шире, явив миру свои огромные сверкающие зубы, которые невозможно ни забыть, ни с чем-нибудь другим спутать.

— Она самая. Я так и думала, что это будет для тебя самым настоящим сюрпризом.

Палата, в которую поместили Джоан, со своим шкафом, письменным столом, ночным столиком, креслом и белым одеялом, на котором была выведена огромная синяя буква «С», оказалась сестрой-двойняшкой моей собственной. Я подумала, что Джоан, прослышав о том, куда я попала, решила улечься в больницу просто так, своеобразной шутки ради. Тогда становилось понятно, почему она объявила медсестре о том, что мы с ней приятельницы. Мы были едва знакомы, но сильно недолюбливали друг дружку.

— Как ты сюда попала?

Я взгромоздилась на ее кровать.

— Прочла о тебе.

— Что-что?

— Прочла о тебе и убежала из дому.

— Ну-ка, объясни поподробней.

Я старалась не выйти из себя.

— Ну что ж. — Джоан откинулась в обитом цветастым ситцем больничном кресле. — Я устроилась на лето поработать у руководителя какой-то организации, вроде масонской, знаешь ли, только это были не масоны. И мне там было чудовищно скверно. У меня были такие судороги в ногах, я практически не могла передвигаться — а в последние дни мне пришлось приходить на работу в резиновых сапогах, потому что туфель я носить не могла, — и ты можешь представить себе, как это отразилось на моем настроении...

Я решила, что Джоан либо совершенно спятила — отправляться в резиновых сапогах на работу, это ж только представить, — либо намерена выяснить, в достаточной ли мере спятила я, чтобы в такую чушь поверить. Да ведь вдобавок ко всему судороги бывают только у стариков и старух. Я выбрала такую тактику: я делаю вид, будто поверила, что она рехнулась, и воспринимаю ее рассказы, втайне подсмеиваясь над ними.

— А я без туфель всегда паршиво себя чувствую, — произнесла я с двусмысленной улыбочкой. — У тебя что, так болели ноги?

— Ужасающе. А мой шеф — он только что расстался с женой — не развелся, это в их организации запрещено, а расстался, — мой шеф приставал ко мне, буквально проходу не давал, и каждый раз при этом у меня начинали ужасающе болеть ноги, просто ужасающе, а стоило мне усесться за письменный стол, его приставания возобновлялись еще с большим жаром, и еще ему хотелось передо мной выплакаться... облегчить, так сказать, душу.

— Так почему же ты не ушла оттуда?

— Ну, можно считать, я как раз ушла. Я взяла на неделю бюллетень. Я не выходила на улицу. Я никого не видела. Я спрятала телефон в ящик письменного стола и не отвечала на звонки... И тогда мой врач направил меня к психиатру. В эту, знаешь ли, большую больницу. Мне было назначено на двенадцать часов дня, и я была в преотвратном состоянии. И вот, представляешь, в полпервого выходит его секретарша и объявляет, что психиатр ушел на обед. И спрашивает, намереваюсь ли я его дожидаться, и я говорю, что намереваюсь.

— Ну, и как он, вернулся?

Джоан докладывала мне с таким волнением, что трудно было оставаться в убеждении, будто вся эта история высосана из пальца, поэтому я решила не прерывать ее, чтобы выслушать, о чем она расскажет дальше.

— И вот, представляешь, я решила покончить с собой. Я сказала себе: если этот чертов доктор мне не поможет, тогда все — крышка. И знаешь, секретарша провела меня по какому-то

длинному коридору и, когда мы уже подошли к нужной двери, повернулась ко мне и сказала: «Вы не возражаете, если доктор побеседует с вами в присутствии нескольких студентов?» Ты только себе представь такое! Я ответила: «Нет, не возражаю» — и вошла, и на меня сразу же уставились девять пар глаз! Девять пар! Восемнадцать глаз! Понимаешь, если бы эта секретарша сразу сказала мне, что их там окажется девять человек, я бы с ходу повернулась и пошла прочь. Но в самом кабинете убегать уже было поздно. И к тому же я в тот день была в шубе...

— В августе?

— Ну, понимаешь, это был такой холодный, дождливый день, и я подумала, все-таки впервые иду к психиатру... Ну, сама понимаешь. Так или иначе, этот психиатр всю дорогу не сводил глаз с моей шубы, и я совершенно ясно представила себе, о чем именно он подумал, когда я завела речь о том, что мне положена студенческая скидка. Он-то рассчитывал на нормальный гонорар. И тут у него в каждом глазу зажглось по серебряному доллару. Ну ладно, я рассказала ему, уж сама толком не помню о чем, — о судорогах, и о телефоне в ящике письменного стола, и о том, как я собираюсь покончить с собой, — и потом он попросил подождать в соседней комнате, пока он не обсудит мой случай со студентами. А когда он пригласил меня в свой кабинет, знаешь, что он мне заявил?

— Что?

— Он сложил руки на груди, и поглядел на меня, и сказал: «Мисс Джиллинг, мы решили, что вам необходима групповая терапия».

— Групповая терапия?

Я почувствовала, что мой вопрос звучит фальшиво, как эхо, но Джоан не обратила на это никакого внимания.

— Именно это он и сказал. Представляешь себе: я хочу покончить с собой, а мне предлагает поболтать об этом с целой кучей совершенно незнакомого мне народу, причем добрая половина из них столь же безумна, как я сама, или еще хуже.

— Чушь какая-то. — Вопреки собственным намерениям, я относилась к ее рассказу со все большим интересом. — Это просто бесчеловечно.

— В точности так я ему и сказала. Я немедленно отправилась домой и написала этому доктору письмо. Я написала ему изумительное письмо на тему о том, что человек с его моральными принципами просто не имеет права заниматься тем, что ему кажется помощью страждущим.

— А он тебе ответил?

— Не знаю. Как раз в тот самый день я прочитала о тебе.

— Что ты имеешь в виду?

— Ну, о том, как полиция сперва решила, будто ты уже умерла, ну, и все остальное. Где-то тут у меня есть все вырезки.

Она поднялась из кресла, и меня обдало резким лошадиным запахом, у меня даже в ноздрях засвербило. Джоан была чемпионкой колледжа по прыжкам через «коня», и я решила, что в этом наверняка есть и что-то большее, во всяком случае, я не удивилась бы, узнав, что она спит в стойле.

Джоан порылась в раскрытом чемодане и извлекла оттуда пригоршню газетных вырезок.

— Вот, погляди-ка.

На первой из вырезок была помещена большая фотография девицы с черными, провалившимися глазами и с черными губами, разъехавшимися в нелепой ухмылке. Я не могла понять, где они сумели отыскать такое страшилище, пока не заметила блумингдэйлских сережек и блумингдэйлского ожерелья, сиявших на этой кромешно-черной фотографии, как крупные, ненатурально крупные, фальшивые, вроде елочных, звезды.

ПРОПАЛА СТУДЕНТКА КОЛЛЕДЖА, МАТЬ В СМЯТЕНИИ

В заметке, помещенной под фотографией, сообщалось, что эта девица исчезла из дому 17 августа, в зеленой юбке и белой блузке, оставив записку о том, что она отправляется на длинную прогулку. «Когда к полуночи мисс Гринвуд не вернулась домой, значилось в заметке, ее мать обратилась в городскую полицию». На следующей фотографии мы с матерью и с братом были изображены втроем. Мы сидели во двореике нашего дома и улыбались. Я не могла взять в толк, кто и при каких обстоятельствах ухитрился нас заснять, пока не заметила, что у меня на снимке шаровары и белые тапочки, и вспомнила, что так я одевалась тем летом, когда работала в огороде и что как-то раз к нам заехала Додо Конвей и сделала несколько семейных фотографий. «Миссис Гринвуд попросила о публикации данного снимка в надежде на то, что его появление в газете придаст ее дочери решимости вернуться домой».

ОПАСНОЕ СНОТВОРНОЕ ИСЧЕЗЛО ИЗ ДОМУ ВМЕСТЕ С ПРОПАВШЕЙ СТУДЕНТКОЙ

Темный, явно сделанный ночью снимок, изображающий дюжину людей в лесу. Их лица выглядят на нем как луны. Сперва я решила, что люди, идущие по краям живой цепи, смотрятся как-то странно и больше похожи на карликов, но потом я сообразила, что это не люди, а собаки. «Служебные собаки мобилизованы на поиски пропавшей студентки. Сержант полиции Билл Хайндли настроен пессимистически».

ПРОПАВШАЯ СТУДЕНТКА НАЙДЕНА! ОНА ЖИВА!

На последней из фотографий несколько полицейских втаскивают нечто бесформенное в карету скорой помощи. Нечто завернутое в одеяло, нечто длинное и, даже на взгляд, нелепое. Из свертка высовывается похожая на капустный кочан голова. И тут же рассказывается, как моя мать отправилась в подвал, чтобы заняться еженедельной стиркой, и вдруг услышала какие-то жалкие всхлипы, доносящиеся из вентиляционного люка, о котором все давно уже забыли...

Я положила вырезки на белое покрывало, которым была застлана постель Джоан.

— Забирай их себе, — сказала она. — То, что надо для семейного альбома.

Я собрала вырезки и сунула их в карман.

— Я прочитала о тебе, — продолжила Джоан свою историю. — Не о том, как тебя нашли, а все предыдущее, взяла все свои деньги и первым же самолетом полетела в Нью-Йорк.

— А почему именно туда?

— Да просто я решила, что покончить с собой легче всего в Нью-Йорке.

— И что же ты с собой сделала?

Джоан глуповато улыбнулась и протянула мне руки ладонями вверх. Как горы в миниатюре, на обоих запястьях вздымались над белой кожей большие багровые опухоли.

— Как ты это сделала? Чем?

Впервые за все время мне пришло в голову, что у нас с Джоан есть что-то общее.

— Шарахнула по оконному стеклу в комнате у моей соседки.

— У какой еще соседки?

— Ну, у моей бывшей соседки по общежитию в колледже. Она теперь работает в Нью-Йорке, и мне было не придумать, где бы еще остановиться, и, кроме того, у меня практически уже не оставалось денег, поэтому я к ней и приехала. Там меня и отыскали родители — она написала им, что я веду себя как-то странно, — и отец сразу же прилетел и забрал меня обратно.

— Но теперь ты в полном порядке.

Мои слова прозвучали не вопросом, а констатацией факта.

Джоан оценивающе посмотрела на меня своими ярко-серыми, похожими на морскую гальку глазами.

— Думаю, что в порядке. А как насчет тебя?

* * *

Сразу же после ужина я заснула.

Разбудил меня чей-то громкий голос, выкрикивающий:

— Миссис Баннистер, миссис Баннистер, миссис Баннистер...

Очнувшись ото сна, я поняла, что молочу кулаками по спинке кровати и кричу. Угловатая и скобоченная фигура миссис Баннистер, нашей ночной сиделки, показалась на горизонте.

— Эй, послушай, девочка, пожалей свои часики.

Она сняла часы у меня с запястья.

— В чем дело? Что со мной происходит?

Лицо миссис Баннистер расплылось в широкой улыбке:

— У тебя реакция.

— Реакция?

— Как ты себя чувствуешь?

— Как-то странно. Будто я свечусь и вот-вот полечу.

Миссис Баннистер помогла мне сесть:

— Сейчас тебе станет лучше. Прямо сейчас тебе станет гораздо лучше. Хочешь горячего молока?

— Хочу.

И когда миссис Баннистер поднесла чашку к моим губам и я почувствовала вкус горячего молока сначала языком, потом всем ртом, а потом и всем телом, я испытала такое наслаждение, какое, должно быть, ощущает младенец, припав к материнской груди.

— Миссис Баннистер сообщила мне о том, что у вас была реакция.

Доктор Нолан опустилась в кресло у окна и достала крошечный коробок со спичками. Он выглядел точной копией того коробка, который я спрятала в карман халата, и на какое-то мгновение я решила было, что сиделка обнаружила его там и втихаря вернула доктору.

Доктор Нолан оторвала одну игрушечную спичку от упаковки. Вспыхнул ярко-желтый огонек, и я увидела, как она всасывает его в свою сигарету.

* * *

— Миссис Баннистер говорит, что вы чувствуете себя лучше.

— Какое-то время я чувствовала себя лучше. А сейчас все по-старому.

— У меня для вас новости.

Я обождала, что она скажет дальше. Каждый день теперь (а сколько именно дней прошло, я

не знала) я проводила по несколько часов утром и после обеда в вынесенном в сад кресле. Я сидела, закутавшись в свое белое одеяло, и притворялась, будто читаю. У меня имелось смутное подозрение, что доктор Нолан решила предоставить мне на несколько дней отсрочку, чтобы потом, в точности как доктор Гордон, объявить: «Весьма сожалею, но вам ничуть не становится лучше, и поэтому необходимо пройти курс шоковой терапии...»

— И что же, вам не интересно, что это за новости?

— А что это за новости? — машинально спросила я.

— На какое-то время к вам больше не будут пускать посетителей.

Я ошарашенно поглядела на нее:

— Почему это? Как это странно!

— А я думала, что вам это придется по душе. — И доктор Нолан улыбнулась.

Затем я посмотрела — и доктор Нолан перехватила мой взгляд — на корзину для мусора, стоящую возле моего письменного стола. Корзина была полна ярко-алыми розами на длинных стеблях. Там их было не меньше дюжины.

В этот день мне нанесла визит мать.

Моя мать была всего лишь одной из довольно длинной череды посетительниц — включая мою бывшую начальницу, некую даму из «Христианского знания», разгуливавшую со мной вдоль забора и рассуждавшую о том, как, когда читаешь Библию, над землей рассеивается туман и туман этот означает не что иное, как человеческие заблуждения, и еще о том, что моя главная, да и единственная беда заключается в моем интересе к этому туману, в моей вере в него, а стоит мне перестать в него верить — и он мгновенно развеется и я пойму, что со мной все в порядке, да и всегда все было в порядке; а вслед за ней появилась моя преподавательница английского языка и литературы еще со школьных времен и попыталась научить меня игре в скрэббл, потому что эта игра сумеет вновь вдохнуть в меня мой прежний вкус к перестановке слов, и наконец появилась и сама Филомена Гвинеа, которая не слишком высоко оценивала искусство здешних психиатров и непрестанно говорила им об этом.

От всех этих визитов меня буквально воротило. Я сидела в саду или у себя в палате, и вдруг с улыбкою ко мне подходила медсестра и объявляла об очередном посетителе. Однажды сюда явился даже священник унитарийской церкви, которого я всегда терпеть не могла. Видно, его самого тоже пришлось на этот визит уговаривать. Все время он ужасно нервничал, и я могла поклясться, что он считает меня полностью и окончательно рехнувшейся, потому как я сообщила ему, что верю в ад, а также и в то, что некоторые люди, и я в том числе, обречены пребывать в аду еще при жизни и это ниспослано им в наказание за то, что они не верят в загробную жизнь, а если не веришь в загробную жизнь, то она и не ждет тебя после смерти. Каждому, так сказать, по вере его.

Я ненавидела эти визиты еще и потому, что постоянно чувствовала во время их, как мои посетители замечают мою толщину и мои нелепые волосы и постоянно сравнивают меня нынешнюю с той, какова я была раньше, и с той, какой они хотели бы меня видеть. И я понимала, что они уходят отсюда глубоко разочарованными.

Мне казалось, что, если они оставят меня в покое, я и впрямь сумею обрести себя.

Хуже всех была моя мать. Она никогда не бранила меня, но зато постоянно просила, можно сказать, умоляла, сделав при этом жалобное лицо, объяснить ей, в чем она передо мной провинилась. Она говорила, что уверена, будто доктора считают ее в чем-то виноватой, потому что они терзали ее вопросами о том, как она учила меня следить за собой, а она, дескать, учила меня этому отлично и с самого раннего возраста, и я превосходно со всем освоилась.

Сегодня после обеда мать принесла мне розы.

— Прибереги их мне на похороны, — сказала я.

На лице у матери появилось обиженное выражение, она чуть не расплакалась:

— Но, Эстер, разве ты забыла, какой у нас сегодня день?

— Забыла.

Я решила, что это, должно быть, День святого Валентина.

— Сегодня твой день рождения!

И, услышав это, я швырнула розы в корзину для мусора.

— Зря она так, — сказала я доктору Нолан.

Доктор Нолан кивнула. Она, казалось, понимала, что я имею в виду.

— Я ненавижу ее, — сказала я и, замерев, принялась ждать, что на мою шею обрушится топор гильотины.

Но доктор Нолан только улыбнулась мне, как будто мои слова доставили ей большое, прямо-таки огромное удовольствие, и сказала:

— Еще бы.

— Вот кто у нас сегодня главная счастливица.

Молодая медсестра забрала поднос с остатками завтрака, предоставив мне оставаться закутанной в белое одеяло, подобно пассажиру, принимающему воздушную ванну на палубе теплохода.

— Почему это я счастливица?

— Ну, не знаю, можно ли прямо сейчас вам об этом сообщить, но сегодня вас переводят в «Бельсайз».

Медсестра посмотрела на меня, ожидая бурного проявления восторга.

— В «Бельсайз»? Но мне нельзя туда.

— Почему это нельзя?

— Я к этому не готова. Я не настолько хорошо себя чувствую.

— Разумеется, достаточно хорошо. Не бойтесь, они не решились бы вас перевести, если бы вы чувствовали себя недостаточно хорошо.

После ее ухода я задумалась над услышанным, пытаюсь разгадать смысл этого нового хода в ведомой доктором Нолан партии. Что она хочет доказать? Я совершенно не изменилась. И вокруг ничто не изменилось. А «Бельсайз» в здешнем заведении — даже не чистилище, а преддверие рая. Из «Бельсайза» людей выписывают в мир — возвращают на работу, на учебу, возвращают домой. Джоан уже была переведена в «Бельсайз». Джоан с ее учебниками по физике и с командой по гольфу, Джоан с ее ракеткой для бадминтона и сочным, раскатистым смехом, Джоан, вырвавшаяся на добрую милю вперед по сравнению со мной и другими относительно благополучными больными. С тех пор как Джоан перевели из «Каплана», я тайком следила за ее успехами, содглядывая сквозь заросли больничного винограда.

У Джоан было право гулять, у Джоан было право делать покупки, у Джоан было право выходить в город. Все добрые вести, которые мне удавалось собрать о Джоан, я воспринимала с затаенной горечью, хотя внешне и пребывала вроде бы к ним равнодушной. Джоан была точной — и буквально светящейся — копией моего прежнего «я», созданной словно бы нарочно для того, чтобы преследовать и терзать меня.

Возможно, к тому времени, как меня переведут в «Бельсайз», ее вообще уже выпишут.

Правда, в «Бельсайзе» я по крайней мере смогу избавиться от страха перед электрошоком. В «Каплане» множество пациенток подвергалось шоковой терапии. Я легко могла определить, кто именно из нас отправлялся на эту процедуру, потому что им не приносили завтрак в то же время, когда остальным. Их пытали электрошоком, пока мы завтракали у себя в палатах, а потом они появлялись в холле, тихие и какие-то выжатые, и сиделки вели их за руку, как детей. И завтрак им подавали прямо в холле.

Каждое утро, когда я слышала стук в дверь, означавший, что медсестра принесла мне завтрак, я испытывала бесконечное облегчение, потому что осознавала, что на сегодня опасность миновала. Я не могла понять, откуда доктор Нолан взяла, будто во время шокотерапии можно заснуть, если она сама — а это ведь очевидно — такую процедуру не проходила. Откуда она взяла, что больной является спящим, а не кажется таковым, тогда как на самом деле он каждое мгновение мучительно воспринимает синие вспышки и ужасный грохот.

Из конца холла доносились звуки рояля.

За обедом я сидела молча, прислушиваясь к болтовне пациенток «Бельсайза». Все они были модно одеты, хорошо причесаны и в косметике, и среди них было несколько замужних женщин. Кое-кто из них отсутствовал, уехав в город за покупками или в гости к друзьям, и на протяжении всей трапезы они перекидывались какими-то явно не предназначенными для посторонних ушей шутками.

— Я бы позвонила Джону, — произнесла одна из них, которую звали Диди, — но только, боюсь, его не окажется дома. Правда, я знаю и другое местечко, куда ему можно позвонить, и там уж он окажется наверняка.

Невысокая блондинка, сидевшая со мной за одним столом, изящная и чрезвычайно оживленная, рассмеялась:

— На сегодня вместо него сойдет и доктор Лоринг. — Ее большие синие глаза округлились, как у куклы. — Я ведь не стану пенять Перси, если он найдет себе другую манекенщицу.

В другом конце столовой Джоан с огромным аппетитом поглощала макароны с томатным соусом. Среди этих здоровых баб она чувствовала себя совершенно в своей тарелке и обращалась со мной холодно, с постоянной ухмылочкой на губах, словно со случайной знакомой, которой откровенно пренебрегают.

Сразу после обеда я пошла к себе и решила поспать. Но тут я услышала звуки рояля и представила себе Джоан, и Диди, и Лубель, эту блондиночку, и всех остальных, представила, как они болтают обо мне и смеются надо мною в гостиной, прямо за стенкой Они, должно быть, говорят о том, как ужасно терпеть особу вроде меня в «Бельсайзе», и о том, что мне прямая дорога в «Уимарк».

Я решила положить конец их паршивой болтовне.

Свободно накинув одеяло на плечи, как древнеримскую тогу, я прошла в холл и двинулась навстречу свету и веселому гаму.

И весь остаток вечера я провела, слушая, как Диди поет песни собственного сочинения, сопровождая себя на рояле, пока остальные женщины, сидя вокруг, играют в бридж и болтают, — в точности так, как они вели бы себя в общежитии колледжа, с той только разницей, что большинство из них лет десять назад вышли из студенческого возраста.

Одна из них, высокая и на свой лад величественная седовласая женщина с глухим басом, которую звали миссис Сэвидж, закончила Вассарский колледж. Без раздумий я определила, что передо мной дама из общества, потому что она не говорила ни о чем другом, кроме как о первом выходе в свет. У нее вроде бы было не то две, не то три дочери, и всем им в этом году предстоял выход в свет, а она, представьте себе, пропустила их первые балы, угодив в здешнюю лечебницу.

Одна из песенок Диди называлась «Молочник», и все без умолку твердили ей о том, что эту песню следует записать, она, мол, непременно попадет в хитпарад. Сперва ее пальчики проходились по клавишам, наигрывая легкий мотив, напоминающий стук копыт неторопливого пони, а затем начиналась другая мелодия, похожая на свист молочника, едущего на телеге, а потом мелодии сливались и переплетались.

— Как это мило, — произнесла я в тоне непринужденной беседы.

Джоан, облокотившись о рояль, листала журнал мод, а Диди не сводила с нее глаз, и на губах у нее витала улыбка, как будто их обеих связывала какая-то общая тайна.

— О Господи, Эстер, — произнесла Джоан, не выпуская из рук своего журнала. — Так это, выходит, ты?

Диди резко оборвала свою игру:

— Дай-ка мне посмотреть.

Она взяла у Джоан журнал, посмотрела на картинку с той страницы, на которой он был

раскрыт, и перевела взгляд на меня.

— Нет, что ты! Конечно же, нет. — Диди вновь посмотрела на картинку, а потом опять на меня. — Ни в коем случае!

— Послушай, но это же Эстер! Верно, Эстер?

Лубель и миссис Сэвидж подошли к роялю, а я, делая вид, будто понимаю, в чем смысл происходящего, тронулась с места вслед за ними.

На фотографии в журнале была изображена девица в белом вечернем платье из ворсистой ткани. Бретелек на этом платье не было. Девица, ухмыляясь во весь рот так, что казалось, будто ее лицо сейчас развалится пополам, стояла в окружении целой свиты молодых людей. В руке у нее был бокал с каким-то прозрачным напитком, и глядела она как будто мне на плечи или на кого-то, стоящего у меня за спиной, чуть слева. А тут и впрямь чье-то дыхание коснулось моего затылка. Я резко обернулась.

Незаметно и неслышно, на своих мягких войлочных подошвах, подкралась ночная сиделка.

— Нет, кроме шуток, — сказала она. — Это и правда вы?

— Да нет, что вы! Джоан ошиблась. Это вовсе не я.

— Нет уж, признавайся, — воскликнула Диди.

Но я отвернулась, сделав вид, будто не слышу ее слов.

И тут Лубель предложила сиделке сесть с ними четвертой за карты, а я придвинула кресло к столику, чтобы понаблюдать за игрой, хотя буквально ничего не смыслю в бридже, потому что у меня не хватило времени научиться играть в него в колледже, пусть это и принято среди дорожащих своей светскостью девиц.

Я просто глядела на плоские карточные лица королей, дам и валетов и слушала рассказы сиделки о том, как плохо ей живется.

— Вам, сударыни мои, просто не представить себе, каково это — работать в двух местах. По ночам я прихожу сюда, чтобы смотреть за вами...

Лубель захихикала:

— Ну, мы-то ведем себя хорошо. Мы тут лучше всех, и вам это прекрасно известно.

— Вы ведете себя хорошо, — ответила сиделка, сделав ударение на первом слове. Она пустила по кругу упаковку жевательной резинки, затем взяла пакетик и себе. — Вы ведете себя хорошо, а вот эти психованные из больницы штата меня чуть до смерти не замучили.

— А вы и там тоже работаете? — спросила я с внезапно проснувшимся интересом.

— Да уж поверьте. — Сиделка посмотрела на меня в упор, и я поняла, что она подумала, будто мне вообще не место в «Бельсайзе». — Там бы вам, леди Джейн, пришлось трудновато.

Мне показалось странным, что сиделка назвала меня леди Джейн. Она ведь прекрасно знала мое имя.

— Почему же? — нашла я в себе, тем не менее, силы для вопроса.

— Ох, там ведь вовсе не такое уютное гнездышко, как здесь. Здесь-то все в точности так, как в нормальном загородном клубе. А у них там ничего нет. Ни общей терапии, если уж на то пошло, ни прогулок...

— А почему там нет прогулок?

— Не хватает персонала. — Сиделка сделала какой-то хитрый ход, и Лубель аж застонала. — Поверьте мне, сударыня, как только я скоплю на машину, я оттуда уйду.

— А отсюда тоже уйдете? — поинтересовалась Джоан.

— Наверняка. И займусь исключительно частной практикой. Когда мне чего-нибудь захочется...

Но я уже не слышала того, что она говорит.

Я почувствовала, что сиделке было поручено преподать мне урок, продемонстрировать

ожидающую меня, если не произойдет улучшения, перспективу. Или мне начнет становиться все лучше, или, наоборот, все хуже — и тогда я рухну и полечу в бездну, как горящая, а потом и как сгоревшая звезда. Из «Бельсайза» я вылечу в «Каплан», из «Каплана» — в «Уимарк», и наконец, когда доктор Нолан и миссис Гвинеа полностью во мне разуверятся, я попаду в больницу штата.

Я потуже обмоталась своим одеялом и с силой оттолкнула кресло.

— Замерзли? — любопытствовала сиделка.

— Совершенно окоченела, — ответила я и пошла прочь.

* * *

Я проснулась в тепле и уюте моего белого кокона. Бледный свет зимнего солнца играл в зеркале, и на стекле стаканов, стоящих на письменном столе, и на металлической дверной ручке. Из холла доносились типичные для раннего утра звуки: это кухарки и сиделки готовили для нас подносы с завтраком.

Я услышала, как санитарка постучала в соседнюю дверь, вглубь от меня по коридору. Низко зарокотал сонный голос миссис Сэвидж, и санитарка вошла к ней с позвякивающим подносом. Я представила себе, испытав при этом довольно сильное удовольствие, дышащий жаром синий фарфоровый кофейник, и синюю фарфоровую чашку, и объемистый синий фарфоровый кувшинчик со сливками, расписанный сверху белыми маргаритками.

Я уже начала призадумываться над своей дальнейшей судьбой.

Если мне суждено сорваться и рухнуть в бездну, надо постараться продержаться подольше, как можно дольше, в здешних сравнительно комфортабельных условиях.

Санитарка постучалась ко мне и, не дожидаясь ответа, вошла.

Это была новенькая (или новая, их все время меняли) — с продолговатым лицом песочного цвета, и с песочными волосами, и с большими веснушками, пляшущими польку на ее костистом носу. По непонятной мне самой причине один вид этой санитарки нагнал на меня глубочайшую тоску, и только когда она вышла на середину палаты, а затем прошла ее всю, чтобы отдернуть зеленую штору, я поняла, по крайней мере отчасти, охватившее меня уныние: она пришла ко мне с пустыми руками.

Я открыла было рот, чтобы осведомиться о судьбе моего завтрака, но вовремя опомнилась. Санитарка наверняка меня с кем-то спутала. С новенькими такое часто бывает. Кому-то из пациенток «Бельсайза» предписана шокотерапия, кому-то, кого я и знать не знаю, а она, и ее легко можно извинить, перепутала меня с этой бедняжкой.

Я подождала, пока санитарка не завершила небольшой обход моей палаты, что-то поправляя, что-то переставляя и тому подобное. Но затем она вышла и понесла поднос с завтраком в палату Лубель.

Тогда я сунула ноги в шлепанцы, закуталась в одеяло, потому что утро было хотя и солнечным, но очень холодным, и быстро пошла на кухню. Девушка в ярко-красной униформе разливала кофе из большого котла по выстроенным в ряд синим фарфоровым кофейникам.

Я с любовью поглядела на уже заставленные завтраками подносы. Все эти белые бумажные салфетки, сложенные твердыми и точными треугольниками, на которых лежали серебряные вилки, бледные башни яиц в мешочек в синих подставках, прозрачные креманки с апельсиновым джемом. Мне довольно было всего лишь протянуть руку и потребовать причитающийся поднос — и сразу же мир опять становился нормальным.

— Произошла ошибка, — сообщила я кухонной девушке, перегнувшись через стойку и говоря приглушенным, как бы конфиденциальным тоном. — Новая санитарка не принесла мне сегодня

завтрак.

Мне удалось изобразить на лице широкую улыбку, чтобы продемонстрировать, что я ничуть не обижена.

— Как вас зовут?

— Гринвуд. Эстер Гринвуд.

— Гринвуд, Гринвуд, Гринвуд... — Указательный палец девицы заскользил по списку пациенток «Бельсайза», вывешенному на кухонной стене. — Гринвуд сегодня без завтрака.

Я обеими руками вцепилась в стойку:

— Тут наверняка какая-то ошибка. Вы уверены, что именно Гринвуд?

— Гринвуд, — повторила девица без малейших сомнений в голосе, а тут как раз появилась и санитарка.

Она вопросительно перевела взгляд с кухонной девицы на меня и обратно.

— Мисс Гринвуд хотела бы получить свой завтрак.

Произнося это, девица старательно прятала от меня глаза.

— Ах, вот как... — санитарка широко улыбнулась мне. — Вы получите свой завтрак попозже. Вам предстоит сегодня...

Но я не хотела слышать о том, что мне предстоит. Я вслепую рванулась из кухни в холл — не в свою палату, потому что искать меня будут именно там, — но в нишу в конце коридора, куда меньшую по своим размерам, чем ниша в «Каплане», но тем не менее все-таки нишу, куда не придут Джоан, и Диди, и Лубель, и миссис Сэвидж.

Я забилась в темный угол ниши и закуталась в одеяло с головой. Не так меня пугала и возмущала предстоящая шокотерапия, как откровенная измена доктора Нолан. Ее предательство, ее вероломство. Мне нравилась доктор Нолан, я, можно сказать, полюбила ее, я ей доверилась и рассказала ей обо всем, ничего не утаивая, а она пообещала, она поклялась оповестить меня загодя, если мне опять будет прописан электрошок.

Если бы она сообщила мне об этом хотя бы накануне вечером, я, разумеется, пролежала бы всю ночь, не сомкнув глаз, полная страха и предчувствий, но зато утром меня не застигли бы врасплох. Я оказалась бы подготовленной. Я прошла бы по холлу в сопровождении двух санитарок, прошла бы мимо Диди, и Лубель, и миссис Сэвидж, и Джоан, преисполненная собственного достоинства, как человек, сохраняющий невозмутимость, даже когда его ведут на плаху.

Надо мною склонилась санитарка. Она выкликнула мое имя.

Я отшатнулась от нее и поползла еще глубже в угол. Санитарка исчезла. Я понимала, что через минуту-другую она вернется в компании двух кряжистых мужиков и они потащат меня, поволокут, бьющуюся и вопящую, мимо всей честной компании, уже наверняка собравшейся в холле, предвкушая подобное зрелище.

Доктор Нолан обвила меня рукой и по-матерински прижала к себе.

— Вы обещали, что скажете мне об этом, — прокричала я сквозь толщу одеяла.

— Ну вот, я и говорю. Я специально пришла пораньше, чтобы самой сообщить тебе об этом.

И проведу все тоже сама.

Мои набухшие губы задрожали:

— А почему вы не сказали мне об этом вчера вечером?

— Я решила, что тогда ты не сможешь заснуть. Но если бы я знала...

— Вы обещали мне, что скажете!

— Послушай-ка, Эстер. Я ведь пойду с тобой. Я буду с тобой все время, я прослежу, чтобы все прошло должным образом, как я тебе и обещала. Я буду с тобой, когда ты проснешься, и сама отведу тебя в палату.

Я посмотрела на нее. Она выглядела очень взволнованной.

Минуту я помолчала. Затем сказала:

— Пообещайте, что вы там будете.

— Обещаю.

Доктор Нолан достала белый носовой платок и вытерла мне лицо. Затем взяла меня под руку, как старую приятельницу, и помогла подняться. Мы с ней пошли по коридору. Одеядо, болтаясь в ногах, мешало мне идти, поэтому я просто бросила его наземь, но доктор Нолан, казалось, не обратила на это никакого внимания. Мы прошли мимо Джоан, высунувшейся как раз из своей палаты, но я одарила ее настолько высокомерной и презрительной усмешкой, что она отпрянула к себе и, пока мы не прошли, больше не высовывалась.

Затем доктор Нолан отперла дверь в самом конце коридора, и мы с ней спустились по лестнице на первый этаж, таинственные коридоры которого, со своими туннелями и закоулками, образовывали единую сеть под всеми зданиями больницы.

Стены здесь были белыми кафельными, как в общественной уборной, и на определенном расстоянии друг от друга с черного потолка сияли яркие голые лампочки. К шипящим и громыхающим трубам, представляющим собой нервную систему всего заведения, вдоль кафельных стен были то здесь, то там прислонены каталки и кресла-каталки. Больше всего я боялась потерять здесь руку доктора Нолан, и время от времени она подбадривала меня шлепком.

Наконец мы остановились у зеленой двери, на которой черными буквами было выведено слово «Электротерапия». Сперва я отпрянула было назад, и доктор Нолан подождала, пока я не справлюсь со своими чувствами.

— Пошли, — сказала я, — давайте уж поскорей.

И мы вошли.

Кроме нас с доктором, в комнате находились только пожилой тучный мужчина в несвежем белом халате и какая-то женщина.

— Не хочешь ли сесть? — Доктор Нолан указала мне на деревянную скамью, но ноги у меня налились уже такую тяжестью, что, казалось, я не смогу их разогнуть и вывести себя из сидячего положения, когда в комнату войдут мои истязатели.

— Я уж лучше постою.

В конце концов из внутренней двери выплыла огромная трупобразная женщина в белом халате. Я решила, что сперва она займется пожилым мужчиной, поскольку он пришел сюда первым, но, к моему удивлению, она направилась прямо ко мне.

— Доброе утро, доктор Нолан, — сказала эта страшилиня, обнимая меня за плечи. — Это Эстер?

— Да, мисс Хью. Эстер, это мисс Хью, она хорошенько о тебе позаботится. Я ей о тебе рассказывала.

Мне показалось, что в мисс Хью были все семь футов росту. Она мягко наклонилась надо мной, и я увидела, что ее лицо с металлическим зубом, торчащим в самой середине рта, обезображено угревой сыпью. Оно напоминало карту лунных кратеров.

— Думаю, мы займемся тобой прямо сейчас, Эстер, — сказала мисс Хью. — Мистер Андерсон не обидится, если мы попросим его подождать, не правда ли, мистер Андерсон?

Мистер Андерсон промолчал, поэтому меня провели в соседнюю комнату. Рука мисс Хью по-прежнему лежала у меня на плечах, а доктор Нолан замыкала процессию.

Сощуриив глаза, которые я не смела раскрыть пошире, чтобы меня не ужаснуло открывающееся здесь зрелище, я увидела высокое ложе с белой, туго натянутой простыней, машину возле этого ложа, и человека в маске — я не смогла бы сказать, мужчина это или

женщина, — возле машины, и еще двоих людей в масках по обеим от нее сторонам.

Мисс Хью помогла мне взобраться на ложе и лечь на спину.

— Поговорите со мной, — попросила я.

Мисс Хью начала что-то говорить низким ласковым голосом, смазывая какой-то мазью мне виски и размещая маленькие электроды над ними.

— С тобою все будет хорошо, ты ничего не почувствуешь, просто закуси вот эту штуку...

И она положила что-то мне на язык, и, охваченная ужасом, я вцепилась в это нечто зубами, и тьма стерла меня, как запись мелом с грифельной доски.

— Эстер!

Я очнулась от глубокого, опустошительного забытья, и первым, что я увидела, было лицо доктора Нолан, плывущее и качающееся у меня перед глазами.

— Эстер, Эстер, — твердила доктор Нолан.

Я потеряла глаза плохо повинующейся мне рукой.

За спиной у доктора Нолан я смогла разглядеть тело женщины в черно-белом халате, распахнувшемся, как при падении с большой высоты. Но прежде чем я вгляделась в это поотчетливей, доктор Нолан увела меня, и мы вышли на свежий воздух. Небо было безоблачным.

Весь мой страх и мрак отступились от меня. Я чувствовала себя на удивление спокойно. Стекланный колпак, без единой трещины и царапины, висел в нескольких футах над моей головой. Я вдыхала циркулирующий под его куполом воздух.

— Все было так, как я обещала, правда? — спросила доктор Нолан, когда мы с ней возвращались в «Бельсайз», ступая по палым листьям.

— Да.

— Что ж, и дальше будет в точности так же, — невозмутимо произнесла она. — Ты будешь проходить процедуру три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

Я набрала в легкие побольше воздуха:

— В течение какого времени?

— Это будет зависеть от тебя и от меня.

* * *

Я взяла серебряный ножичек и разбила яйцо. Затем положила ножичек на стол и пристально посмотрела на него. Я пыталась вспомнить, за что это я так любила ножи раньше, но моему сознанию не удавалось сформулировать четкой мысли, и оно взмывало, как птица, в пустую высоту.

Джоан и Диди сидели рядышком за роялем. Диди обучала Джоан играть на черных клавишах, подыгрывая ей на белых.

Я подумала: как это печально, что Джоан так похожа на лошадь, со своими огромными зубами и большими серыми, напоминающими крупную морскую гальку глазами. Да ей, пожалуй, и такого парня, как Бадди Уиллард, ни в жизнь не зацепить. А муж Диди, не таясь, жил то с одной любовницей, то с другой и относился к ней не лучше, чем к старой, запаршивевшей кошке.

* * *

— А мне письмо-о-о, — пропела Джоан, просовывая свою огромную голову в дверь моей палаты.

— Поздравляю.

Я не подняла глаз от книги. С тех пор как шокотерапия осталась позади — а всего со мной было проведено пять сеансов — и я получила право на выход в город, Джоан принялась зависать на мне, как большая и неугомонная пчела, — как будто вздумала высосать из меня мед моего

выздоровления. У нее забрали учебники по физике и длинные ленты шаргалок, которыми она обвешала стены в своей палате, и дела ее шли все хуже.

— А тебе не интересно узнать от кого?

Джоан прошла в палату и села ко мне на постель. Мне хотелось крикнуть ей, чтобы она убиралась к чертям собачьим, от одного ее вида у меня мурашки бегали, но я как-то не могла на это решиться.

— Что ж, ладно. — Заложив в книгу палец, я прикрыла ее. — Так от кого же?

Из кармана юбки Джоан вытащила бледно-голубой конверт и, поддразнивая меня, помахала им.

— Вот так совпадение, — сказала я.

— Что еще за совпадение?

Я подошла к письменному столу, взяла с него бледно-голубой конверт и помахала им перед носом Джоан. Конверты были похожи друг на друга, как парные носовые платки.

— Я тоже получила письмо. Интересно, не совпадают ли они слово в слово.

— Ему лучше, — сказала Джоан. — Его выписали.

Возникла небольшая неловкая пауза.

— Ты собираешься выйти за него замуж?

— Нет, — ответила я. — А ты?

Джоан уклончиво ухмыльнулась:

— Да он мне не больно-то нравится.

— Вот как?

— Да. Но мне очень нравятся его родители.

— Ты имеешь в виду мистера и миссис Уиллард?

— Да. — Голос Джоан заставил мой позвоночник зануть, как от сквозняка. — Я их просто люблю. Они такие милые, они так счастливы друг с другом. Не то что мои родители. Я часто бывала у них, пока на горизонте не появилась ты.

Прежде чем упомянуть о моем появлении, она замешкалась.

— Весьма сожалею. — И затем я добавила: — А почему, если уж они тебе так нравятся, ты прекратила свои визиты?

— Ну что ты! Как же я могла! Пока ты встречалась с Бадди! Это выглядело бы, как тебе сказать, — по меньшей мере странно.

Я взвесила сказанное:

— Пожалуй, что так.

— А ты собираешься, — Джоан вздохнула, — повидаться с ним?

— Еще не знаю.

Сперва мне казалась невыносимой даже мысль о том, что Бадди навестит меня в клинике. Он наверняка начнет важничать и шушукаться со своими коллегами-докторами. Но потом я подумала, что это может стать серьезным и значительным шагом — принять его здесь и поставить на место. Объявить ему: несмотря на то что у меня на самом деле никого нет — ни переводчика-синхрониста и никого другого, — с ним я тоже дела иметь не хочу, потому что он мне не подходит и совершенно разонравился.

— Еще не знаю. А ты?

— Собираюсь, — выдохнула Джоан. — Может быть, он приедет вместе с матерью. Я хочу попросить его, чтобы он приехал вместе с матерью...

— Вместе с его матерью?

Джоан чуть надулась:

— Я люблю миссис Уиллард. Миссис Уиллард — замечательный человек, просто

замечательный. Я люблю ее, как родную мать.

Я представила себе миссис Уиллард в ее твидовом наряде, в туфлях на мягкой подошве и с неизменно мудрыми, материнскими изречениями на устах. С мистером Уиллардом она обращалась как с ребенком, и у него был высокий и чуть визгливый голос, как у ребенка. Джоан и миссис Уиллард. Джоан... и миссис Уиллард...

В это же утро я постучала к Диди, желая одолжить у нее какую-нибудь партитуру, чтобы немного поиграть на рояле. Мне никто не ответил. Я подождала пару минут и, решив, что Диди вышла и я могу взять ноты у нее с письменного стола, открыла дверь и вошла в палату.

В «Бельсайзе», даже в «Бельсайзе», хотя на дверях и есть замки, пациентам не дают ключей от них. Закрытая дверь здесь означает желание остаться наедине с собой и внушает уважение, как в других условиях дверь запертая. Ты стучишь, потом стучишь еще раз и, не услышав ответа, уходишь прочь. Я вспомнила об этом, очутившись в затемненной и проникнутой неясным запахом палате и еще ничего не видя после яркого света в коридоре.

Когда я наконец начала что-то видеть, я заметила, как с постели поднимается какая-то тень. Затем послышался сдавленный смешок. Тень, поднявшись с постели, привела в порядок свои волосы, и на меня в полутьме уставились два больших серых, похожих на крупную морскую гальку глаза. Диди лежала на подушках и смотрела на меня с насмешливой улыбкой. Ее зеленое шерстяное платье было высоко задрано, и наружу торчали голые ноги. В правой руке у нее тлела сигарета.

— Я просто хотела...

— Понятно, — сказала Диди. — Взять ноты. — Привет, Эстер, — сказала Джоан, и от одного звука ее голоса меня чуть не стошнило. — Подожди меня, Эстер, мы с тобой поиграем в четыре руки. — И тут же она переменяла тему: — Мне вовсе не нравится Бадди Уиллард. Он думает, что ему все на свете известно. Он думает, что ему все известно про женщин...

Я посмотрела на Джоан. Несмотря на нелепость и отвратительность ситуации и несмотря на мою всегдашнюю, граничащую с презрением, к ней нелюбовь, Джоан сейчас восхищала меня. Смотреть на нее сейчас было все равно что смотреть на марсианина или на какую-нибудь особенно омерзительную жабу. И хотя ее мысли не совпадали с моими мыслями, а ее чувства — с моими чувствами, я ощущала, что мы с ней в чем-то сродни, словно ее мысли и чувства оказались искаженными черным отражением моих собственных.

Иногда я размышляла над тем, не я ли виновата в том, что она заболела. А иногда задумывалась над тем, прекратит ли она когда-нибудь встречать в каждый мой жизненный кризис, напоминая мне о том, какую я была и через что прошла, и подсовывать мне прямо под нос свой собственный и совершенно отдельный от меня, но настолько похожий кризис.

— Не понимаю, что женщины находят в других женщинах, — сказала я доктору Нолан в тот же день. — Что ищет женщина в женщине такого, чего она не может найти в мужчине?

Доктор Нолан ответила не сразу.

— Нежность, — произнесла она наконец.

И это заставило меня замолчать.

— Ты мне нравишься, — заявила Джоан. — Ты нравишься мне куда сильнее, чем Бадди Уиллард.

И когда она с дурацкой улыбкой растянулась у меня на постели, я вспомнила об одном скандале, разразившемся в общежитии нашего колледжа. Одна толстая, с огромными грудями старшекурсница, всегда ведущая себя тихо и по-домашнему, как какая-нибудь бабуся, и отличавшаяся необычайным религиозным рвением, и высокая дерзкая девчонка из новеньких, о которой шла молва, будто она чересчур увлекалась свиданками вслепую и всячески изощрялась на них, — вот эти две девицы вдруг начали проводить вдвоем слишком много времени. Их вечно

видели вместе, и как-то раз в комнате у толстухи застучали. Сплетня облетела все общежитие.

— Но чем же они занимались? — спросила я, услышав эту сплетню. Стоило мне задуматься над тем, чем могут заниматься друг с другом двое мужчин или две женщины, и воображение мне отказывало.

— Ах, — воскликнула сплетница, — Милли сидела в кресле, а Теодора лежала на кровати, и Милли гладила ее по волосам.

Я почувствовала себя разочарованной. Я надеялась, что мне раскроют механизм изощренного порока. Я решила, что женская любовь в том и заключается, чтобы гладить друг друга.

Разумеется, известная поэтесса, преподававшая у нас в колледже, жила с приятельницей — со старою латинисткой, постриженной коротко, на голландский лад. И когда я однажды сказала поэтессе о том, что хочу со временем выйти замуж и завести кучу детей, она посмотрела на меня с неподдельным ужасом:

— Но что же тогда будет с твоей карьерой?

У меня разболелась голова. Почему я вечно притягиваю к себе всяких безумных старух? Эту самую поэтессу, и Филомену Гвинеа, и Джей Си, и даму из «Христианского знания», и еще Бог знает кого. И все они, так или иначе, хотят удочерить меня, хотят приспособить на свой лад и, даря мне заботу и помощь, заставить любить их.

— Ты мне нравишься.

— Плохо дело, Джоан, — сказала я, беря с кровати книгу. — Потому что ты мне не нравишься. Меня от тебя, если хочешь знать, тошнит.

И я вышла из комнаты, оставив Джоан, огромную, как дохлая лошадь, лежать на моей постели.

* * *

Я ожидала доктора, размышляя над тем, не удрать ли, пока не поздно. Я знала, что то, что я собираюсь сделать, было незаконным, — во всяком случае, в Массачусетсе, потому что этот штат кишмя кишит католиками, — но доктор Нолан уверила меня, что этот врач — ее старый друг и чрезвычайно умный человек.

— Какова цель вашего визита? — осведомилась одетая в белую форму служащая, записывая мое имя в свою бухгалтерию.

— Что значит «цель»?

Я не ожидала, чтобы кто-нибудь, кроме самого доктора, посмел задать мне этот вопрос, а в приемной было полно народу, и не только к моему доктору, и большинство из этих женщин было с животами или в сопровождении детей, и я почувствовала, как их взгляды устремились к моему плоскому, девственному лону.

Служащая еще раз поглядела на меня, и я покраснела.

— Колпачок, верно, — мягко произнесла она. — Я только хотела убедиться наверняка, чтобы знать, какой счет вам выписать. Вы ведь учащаяся?

— Учащаяся.

— Значит, пятидесятипроцентная скидка. Пять долларов вместо десяти. Послать счет вам на дом?

Я собралась было сообщить ей домашний адрес, ведь к тому времени, как придет счет, я уже скорей всего буду дома, но потом сообразила, что моя мать может увидеть его первой и прочесть, за что это я плачу. Единственный другой адрес, который я могла бы назвать, был

безымянным номером почтового ящика, к чему прибегают люди, не желающие широко рекламировать тот факт, что живут в сумасшедшем доме. Но я сообразила, что служащей может быть известно, что означает подобный номер, поэтому я сказала, что расплачусь наличными, и извлекла пять долларов из сумочки, отделив их предварительно от небольшой пачки.

Пять долларов были частью той суммы, которую вручила мне Филомена Гвинеа как своего рода подарок к выздоровлению. Я подумала, как бы она отнеслась к тому, на что именно я трачу подаренные ею деньги.

Желая того или нет, Филомена Гвинеа выкупала меня из рабства.

— Мне невыносима сама мысль, что мужчина может прижать меня к ногтю, — сказала я доктору Нолан. — Мужчина ни за что на свете не отвечает, а я вот рожу ребенка и должна буду сидеть с ним, как привязанная.

— А что-нибудь в твоём поведении изменилось бы, если бы ты избавилась от страха перед беременностью?

— Да, но...

И я поведала доктору Нолан о замужней адвокатессе с ее «Обществом защиты девственности».

Доктор Нолан терпеливо дослушала меня до конца. Затем расхохоталась.

— Какая ерунда, — сказала она и написала мне на бумажке рецепта имя и адрес гинеколога.

Я нервно листала номер «Младенческого журнала». Сытые, ослепительные личики младенцев с улыбкой смотрели на меня с каждой страницы — безволосые младенчики, шоколадного цвета младенчики, младенчики с личиком президента Эйзенхауэра, младенчики, первый раз распеленатые, младенчики, тянущиеся за погремушкой, младенчики, вкушающие первую порцию каши, младенчики, вытворяющие все свои номера, сопутствующие их постепенному, шаг за шагом, вхождению в тревожный и безумный мир.

В приемной плыл запах талька, кефирчика и мокрых пеленок, навевая нежность и печаль. Каким простым казалось для окружающих меня женщин их материнство! Почему же я настолько лишена малейшего материнского инстинкта, почему я настолько чужда всему этому? Почему бы и мне не посвятить себя воспитанию ребенка, потом — другого, потом — целой кучи детей, подобно Додо Конвей?

Но если бы мне пришлось заботиться о ребенке целый день, я бы просто сошла с ума.

Я посмотрела на ребенка, которого держала на руках женщина, сидящая напротив меня. У меня не было ни малейшего представления о том, какого он возраста, я с детьми никогда не могла этого хотя бы приблизительно определить; мальчик вроде бы умел что-то говорить, и за выпяченными алыми губками у него были зубки, штук этак двадцать. Он покачивал головой из стороны в сторону (а шеи у него как будто совсем не было) и наблюдал за мной с мудрой, стоической усмешкой.

Мать мальчика непрестанно улыбалась и держала его так, словно он был единственным чудом и единственным сокровищем на всем белом свете. Я следила за матерью и малышом, пытаюсь разгадать причину того, почему они оба так довольны собой и друг другом, но, прежде чем я пришла к какому-то выводу, меня позвали в кабинет.

— Колпачок вам придется по вкусу, — сказал доктор с самым добродушным видом, и я с облегчением подумала, что он человек и специалист не того сорта, чтобы задавать всякие неприятные вопросы. А я уже прикидывала, не сообщить ли ему о том, что я выхожу замуж за моряка, как только его корабль бросит якорь в Чарльзтонской гавани, а обручального кольца у меня нет, потому что мы чересчур бедны и не можем себе такое позволить, но в последний момент я забрала эту трогательную историю и просто кивнула.

Я забралась в гинекологическое кресло, уверяя себя: «Я карабкаюсь на Пик Свободы, на Пик Свободы от Страха, Свободы от Необходимости выходить замуж за какого-нибудь никудышника вроде Бадди Уилларда только потому, что мы с ним спим, на Пик Свободы от Домов христианского попечения, куда отправляются все эти несчастные, которым следовало бы заранее обзавестись колпачком, подобно мне, потому что грешить-то они все равно грешат, невзирая на всякие последствия...»

Когда я ехала обратно в клинику, с колпачком, завернутым в коричневую бумагу, в сумочке, я выглядела как миссис Невесть Кто, возвращающаяся домой после дня, проведенного в городе, с кексом, купленным для незамужней тетушки, или с новой шляпкой.

Постепенно подозрение, будто глаза католиков подобны рентгеновским лучам и способны пронзить тебя насквозь, оставило меня, и я почувствовала себя куда лучше. Я хорошо использовала свое право на поездку в город за покупками, решила я.

Я была отныне женщиной, принадлежащей самой себе.

Теперь оставалось найти для нее подходящего мужчину.

— Я намерена стать психиатром.

Джоан произнесла это со своим обычным простодушным энтузиазмом. Мы с нею пили яблочный сидр в гостиной «Бельсайза».

— Вот как, — сухо откликнулась я. — Это хорошо.

— Я провела на эту тему подробную беседу с доктором Квинн, и она считает что это вполне реально.

Доктор Квинн была лечащим врачом Джоан — умная, ехидная, незамужняя баба. И часто я думала, что, попади я не к доктору Нолан, а к ней, я по-прежнему оставалась бы в «Каплане» или, что более вероятно, была бы переведена в «Уимарк». Доктор Квинн была весьма квалифицированным психиатром, но умения ее носили абстрактный характер; Джоан это привлекало, а меня от ее повадок в дрожь кидало.

Джоан болтала об «эго», «суперэго», «оно», и я отвлеклась от всей этой ерунды и начала думать о коричневом нераспакованном свертке в нижнем ящике моего письменного стола. Мы с доктором Нолан никогда не толковали об «эго» и «суперэго». Я, собственно, даже не могу вспомнить, о чем мы с ней постоянно толковали.

— ...и я выписываюсь.

Я резко повернулась к Джоан.

— Куда это?

Мною овладела зависть.

Доктор Нолан сообщила мне, что меня примут в колледж на второй семестр по ее рекомендации и на стипендию от Филомены Гвинеа, но, поскольку доктора наложили вето на мое проживание в материнском доме, мне предстояло оставаться в клинике до начала занятий в колледже.

И, невзирая на все это, мне казалось, что Джоан ведет себя нечестно, демонстрируя таким образом преимущества собственного положения.

— Куда это? — повторила я с некоторой злостью. — Тебе ведь не позволят жить одной, верно?

Всего неделю назад Джоан вновь получила право на поездки в город.

— Ну конечно же, нет. Я поселюсь в Кембридже с медсестрой Кеннеди. Ее соседка по комнате только что вышла замуж, и она теперь нуждается в компаньонке.

— Мои поздравления.

Я подняла бокал с сидром, и мы чокнулись. Несмотря на мою глубокую антипатию к Джоан, я всегда ее на свой лад ценила. Дело выглядело так, как будто нас соединили какие-то

чрезвычайные и катастрофические обстоятельства, вроде войны или чумы, и существовал целый мир, делить который предстояло только нам двоим.

— И когда же ты уезжаешь?

— Первого числа.

— Вот и хорошо.

Джоан совсем развеселилась:

— Но ведь ты приедешь ко мне в гости, правда, Эстер?

— Разумеется, — произнесла я, подумав, однако же, при этом: «Черта с два!»

* * *

— Больно, — сказала я. — Это нормально, что больно?

Ирвин помолчал. Затем произнес:

— Иногда бывает больно.

Я столкнулась с Ирвином на ступеньках Уайденской библиотеки. Я стояла на самом верху лестницы, откуда открывался вид на красные кирпичные здания, с двух сторон обступившие заснеженную дорогу, и собиралась возвращаться в клинику на троллейбусе, когда ко мне подошел высокий молодой человек, в очках, с лицом довольно некрасивым, но интеллигентным, и спросил, который час.

Я взглянула на часы:

— Полпятого.

Молодой человек встряхнул руками, в которых он, как поднос с обедом, нес целый ворох книг, и при этом обнажилось костистое запястье.

— Да у вас же у самого часы на руке!

Молодой человек скорбно посмотрел на свои часы. Затем поднес их к уху и потряс.

— Не идут. — Он призывно мне улыбнулся. — А куда это вы спешите?

Я чуть было не сказала: «К себе в клинику», но парень показался мне привлекательным, поэтому я замаскировала маршрут:

— Домой.

— А не хотите ли выпить чашечку кофе?

Я была в нерешительности. Мне надо было вернуться в клинику к ужину, и я не хотела опаздывать настолько, чтобы мне запретили поездки в город.

— Маленькую-маленькую чашечку, а?

Я решила попрактиковаться в своем новом, нормальном, чисто человеческом поведении на этом молодом человеке, который, пока я раздумывала, успел сообщить мне, что его зовут Ирвином и что он является весьма высокооплачиваемым преподавателем математики, поэтому я произнесла: «Хорошо» — и, приноравливая шаг к шагу Ирвина, пошла рядом с ним по длинной обледенелой лестнице.

И только очутившись у него дома, я приняла решение соблазнить его.

Ирвин жил в мрачноватой, но комфортабельной квартире бельэтажа на одной из улиц на окраине Кембриджа. Он привез меня туда — как он сказал, чтобы выпить пива, — после трех чашек горького кофе в студенческом кафе. Мы сидели у него в кабинете в мягких кожаных креслах, будучи окружены горами запылившихся неудобочитаемых книг с загадочными формулами, рассыпанными по страницам, как модернистские поэтические строчки.

Пока я потягивала пиво, еще самый первый бокал, — я не особенно высокого мнения о холодном пиве в середине зимы, но надо же было что-то держать в руках, — в дверь позвонили.

Ирвин страшно смутился:

— Это, возможно, дама.

У него была нелепая и старомодная привычка называть женщин дамами.

— Ну и хорошо. Пусть войдет.

Ирвин покачал головой:

— Ей это не понравится.

Я усмехнулась в благоухающее имбирем холодное пиво. В дверь позвонили еще раз — и куда настойчивей. Ирвин, вздохнув, пошел отворять. В ту же минуту, как он вышел из комнаты, я прошмыгнула в ванную и, спрятавшись за грязной, алюминиевого цвета занавеской, увидела, как обезьянье лицо Ирвина появилось в дверном проеме.

Высокая грудастая женщина славянского типа, в мохеровом свитере, красных брюках и сапогах на высоком каблуке с барашковой оторочкой, держа в руках подобранную к оторочке муфту, выкрикивала нечто бледное и неслышное в зимний воздух. Зато голос Ирвина доносился до меня из зябкой прихожей:

— Мне очень жаль, Ольга... Я работаю, Ольга... Нет, что ты Ольга...

В ответ на это из алых уст дамы вырывались облачка белого пара, во всяком случае, мне они представляли именно такими. Затем, наконец, я услышала:

— Возможно, Ольга... До свидания, Ольга.

Я не могла не восхититься бесконечной, степной объемистостью обтянутых мохером грудей Ольги, когда она, в нескольких дюймах от того места, где я пряталась, зашагала по скрипучим деревянным ступенькам. На ее в общем-то милых губах играла по-сибирски ожесточенная усмешка.

— Должно быть, вы тут в Кембридже только тем и занимаетесь, что романы крутите, — подбадривающе произнесла я, поддевая на вилку улитку в каком-то ресторане.

— Мне случается, — признал Ирвин со скромной, едва заметной улыбкой, — встречаться с дамами.

Я поднесла ко рту пустую раковину и выпила из нее зеленый сок. Я не имела представления о том, правильно ли я поступаю, но после долгих месяцев на строгой больничной диете мне ужасно хотелось чего-нибудь жирного.

Я позвонила доктору Нолан из телефона-автомата в ресторане и попросила разрешения заночевать в Кембридже у Джоан. Разумеется, я и понятия не имела о том, пригласит ли меня Ирвин после обеда опять к себе домой, но суровая расправа со славянской дамой — женой его коллеги-преподавателя — выглядела многообещающе.

Закинув голову, я допила до дна бокал Нуи-Сен-Жорж.

— Вам нравятся вина, — заметил Ирвин.

— Только Нуи-Сен-Жорж. Я представляю себе при этом святого Георгия... и его дракона...

Ирвин взял меня за руку.

Я была убеждена в том, что моим первым мужчиной должен стать интеллигентный человек, чтобы я могла уважать его. Ирвин в свои двадцать шесть лет был штатным преподавателем, и лицо у него было бледное и лишенное признаков растительности, как это и подобает молодому гению. К тому же мне нужен был многоопытный партнер, который скомпенсировал бы мою собственную неискренность, и обилие дам у Ирвина меня в этом отношении воодушевляло. Вдобавок ко всему, для вящей безопасности, моим первым мужчиной должен был стать совершенно посторонний, незнакомый мне человек, поскольку и дальнейшего знакомства с ним я поддерживать не собиралась: некто безликий и анонимный, как жрец, совершающий обряд дефлорации согласно племенному обычаю.

К концу вечера я была убеждена, что Ирвин соответствует всем моим требованиям.

С тех самых пор, как я узнала о вероломстве Бадди Уилларда, моя девственность висела у меня на шее тяжелым камнем. Когда-то само наличие ее представлялось мне настолько важным, что я стремилась сберечь ее любой ценой. Я сберегала ее пять лет — и мне это чертовски надоело.

И только когда мы уже вернулись к нему домой, и Ирвин схватил меня на руки и понес, пьяненькую и безвольную, в свою обитую черным спальню, я прошептала ему:

— Знаешь ли, Ирвин, мне, наверное, надо сказать тебе об этом. Я девушка.

Ирвин захохотал и швырнул меня на постель. Через несколько минут у него вырвался крик изумления, свидетельствующий о том, что он моему признанию сперва не поверил. Я подумала, как удачно все получилось в том отношении, что я начала принимать меры предосторожности уже днем, потому что сейчас, в состоянии опьянения, когда мне уже было на все наплевать, я бы ни за что не проделала деликатную процедуру. Я лежала, обнаженная и изнасилованная, на грубых простынях Ирвина, ожидая, что сейчас ошущу в себе великую и чудесную перемену.

Но все, что я испытывала, было резкой, на удивление сильной болью.

— Больно, — сказала я. — Это нормально, что больно?

Ирвин помолчал. Затем произнес:

— Иногда бывает больно.

Какое-то время спустя Ирвин встал и прошел в ванную, и я услышала оттуда шум льющейся воды. Я не была уверена, что Ирвин совершил то, что ему было положено, — возможно, моя девственность его каким-то образом оттолкнула или спугнула. Я хотела спросить у него, осталась ли я девственницей, но для такого вопроса чувствовала себя слишком не в своей тарелке. Теплая жидкость струилась у меня между ног. Я потянулась и потрогала мокрое место.

Когда я подняла руку на свет, полоска которого пробивалась из ванной, кончики моих пальцев, казалось, были черными.

— Ирвин, — нервно вскричала я. — Принеси-ка мне полотенце!

Ирвин вернулся. Бедра его были обмотаны полотенцем, а второе полотенце, поменьше, он протянул мне. Я сунула полотенце между ног и почти сразу же выдернула его. Полотенце было черно от крови.

— Я истекаю кровью, — воскликнула я и моментально села.

— Не бойся, такое часто случается, — уверил меня Ирвин. — Все будет в порядке.

И тут мне вспомнились все рассказы и рассказы об испачканных кровью в первую брачную ночь простынях и о пузырьках с красными чернилами, при помощи которых имитируют девственность уже обесчещенные невесты. Я подумала о том, долго ли еще продлится кровотечение, и легла на спину, пристроив между ног полотенце. И тут я поняла, что эта кровь является ответом на вопрос, который я так и не решилась задать. Отныне вероятность того, что я осталась девственницей, равна нулю. Я улыбнулась во тьме. Я осознала, что вступила на общую тропу.

Уже охваченная нетерпением, я приложила чистый край полотенца к моей ране. Я решила, что, как только кровь остановится, я уеду одним из последних троллейбусов к себе в клинику. Мне хотелось поразмышлять над моим новым состоянием и, так сказать, статусом в спокойной домашней обстановке. Но полотенце вновь намокло и почернело.

— Мне кажется... мне лучше поехать домой, — произнесла я в полубморочном состоянии.

— По крайней мере, не прямо сейчас.

— Да нет, лучше сейчас.

Я попросила разрешения взять полотенце Ирвина и сунула его себе между ног, как гигантский тампон. Затем натянула пропотевшую одежду. Ирвин предложил отвезти меня домой на своей машине, но я не могла заставить себя сказать ему, чтобы он отвез меня в

клинику, поэтому полезла в карман за адресом Джоан. Ирвин знал названную улицу и ушел прогревать мотор. Мне было слишком тревожно, чтобы еще сообщать ему, что я по-прежнему истекаю кровью. Я все время надеялась, что кровь вот-вот остановится.

Но пока Ирвин ехал по голым улицам с сугробами на обочине, я почувствовала, как теплая струя просочилась сквозь дамбу полотенца и юбки и выплеснулась на сиденье.

Пока мы, уже замедлив ход, кружили между домами, выискивая освещенные номера, я подумала о том, как удачно, что я не лишилась девственности в колледже или у себя дома, где подобную скрытность и анонимность обеспечить было бы невозможно.

Джоан отперла дверь. На лице у нее были радость и изумление. Ирвин поцеловал мне руку и попросил Джоан хорошенько обо всем позаботиться.

Я закрыла дверь и прислонилась к ней изнутри, чувствуя, как кровь отливает у меня от лица, перетекая в совершенно другое место.

— Что с тобой, Эстер? Ради Бога, в чем дело?

Я подумала о том, скоро ли Джоан заметит, что кровь струится у меня по ногам и натекает в черные кожаные фирменные туфли. Я решила, что я вполне могла бы умирать от огнестрельного ранения, а Джоан все равно смотрела бы сквозь меня своими бледными глазами и ждала, пока я не попрошу чашку кофе и сэндвич.

— Твоя медсестра здесь?

— Нет, у нее сегодня ночное дежурство в «Каплане».

— Вот и хорошо.

На лице у меня появилась горькая гримаса, означавшая, что еще один выброс крови пробился сквозь защитные сооружения и начал неторопливое нисхождение в туфли.

— То есть, я хочу сказать, плохо.

— Ты как-то странно выглядишь, — сказала Джоан.

— Вызови-ка лучше врача.

— Зачем это?

— Да поживей.

— Но ведь...

И она по-прежнему еще ничего не заметила.

Коротко охнув, я нагнулась и сняла с ноги одну из моих потрескавшихся от холода черных блумингдэйлских туфель. Я подняла туфлю, поднесла к самому носу Джоан, встряхнула ее перед округлившимися, похожими на крупную морскую гальку глазами — и струя крови вылилась из туфли и хлынула на бежевый ковер.

— Боже мой! Что это?

— Я истекаю кровью.

Джоан провела, а верней, чуть ли не пронесла меня к софе и помогла лечь. Затем подложила несколько подушек под мои залитые кровью ноги. Потом отошла на шаг и сурово спросила:

— Как звать этого негодяя?

На какое-то безумное мгновение мне пришло в голову, что Джоан, чего доброго, не подумает вызвать врача, пока я не признаюсь ей в вечере, проведенном с Ирвином, и во всем остальном. А после этого не обратится к врачу все равно, решив меня тем самым своеобразно наказать. Но потом я осознала, что она проглотит все, что мне не вздумается ей рассказать, что мой пересып с Ирвином не имеет для нее ровно никакого значения, а само его существование означает не больше, чем колючка на черенке розы, каковою является для нее мой визит.

— Да так как-то, — я махнула рукой, изображая равнодушие и презрение. Еще один выброс крови произошел сразу же вслед за этим, и я в тревоге напрягла брюшные мышцы. — Дай-ка мне

полотенце.

Джоан вышла и тут же вернулась, неся целую охапку полотенец и простынь. Как опытная медсестра, она лихо сняла с меня заляпанные кровью одежды, испуганно ойкнула, дойдя до окровавленного полотенца, и наложила мне свежую повязку. Я лежала, пытаюсь умерить стук сердца, потому что с каждым новым ударом из меня текло и текло.

Я вспомнила чудовищный спецкурс по литературе викторианского периода — всю эту череду романов, героини которых, болезненные и благородные, умирают одна за другой от дикого кровотечения в результате трудных родов. Возможно, Ирвин поранил меня, жестоко и беспощадно, и я сейчас не просто лежу на софе у Джоан, а умираю.

Джоан надела пончо и принялась набирать, один за другим, номера кембриджских врачей. Список их был довольно внушителен. У первого доктора никто не взял трубку. Вторым доктором, которому Джоан начала излагать мою ситуацию, ответил ей так, что она воскликнула: «Понятно!» — и бросила трубку.

— Что он сказал?

— Он обслуживает только своих постоянных клиентов или выезжает на экстренные случаи. А сейчас воскресенье.

Я попыталась поднять руку, чтобы взглянуть на часы, но рука оказалась тяжела, как камень, и не думала шевелиться. Воскресенье — райское времечко для врачей! Они разъезжаются по загородным клубам, они едут к морю, они проводят время с любовницами или с женами, они отправляются в церковь, они катаются на яхтах, они изо всех сил делают вид, что никакие они не врачи, а самые обыкновенные люди.

— Ради Бога, Джоан. Скажи ему, что это экстренный вызов. По третьему номеру никто не ответил, а по четвертому — положили трубку, едва услышав, что речь идет о женском кровотечении. Джоан принялась плакать.

— Послушай-ка, Джоан, — сказала я, преодолевая боль. — Позвони в городскую больницу. Скажи, что это экстренный вызов. Хотят они или нет, но им придется забрать меня.

Лицо у Джоан прояснилось, и она позвонила в больницу. В Службе скорой помощи ей сообщили, что дежурный доктор займется мной, если она сможет доставить меня в больницу. Джоан вызвала такси.

Она настояла на том, чтобы сопровождать меня. С отчаянием я вцепилась руками в свою еще раз перемененную повязку, пока таксист, на которого явно произвел впечатление названный нами адрес, срезал один угол за другим, петляя по полуосвещенным улицам.

Прибыв наконец на место, он с диким скрежетом затормозил.

Я оставила Джоан расплатиться с ним и устремила в пустое, скудно освещенное помещение. Из-за белой ширмы показалась ночная сиделка.

В нескольких словах я успела объяснить ей подлинную причину своих неприятностей, прежде чем в дверях показалась Джоан, широко раскрыв глаза и моргая, как страдающая близорукостью сова.

Тут появился и дежурный доктор, и я с помощью санитарки вскарабкались на гинекологическое кресло. Санитарка шепнула что-то врачу, тот кивнул и принялся распутывать окровавленную повязку. Я почувствовала, как его пальцы принялись что-то искать, а Джоан, прямая и неподвижная, как солдат, стояла справа от меня, крепко держа меня за руку. Кого она этим подбадривала — меня или себя, — я не знаю.

— Ай! — Мне стало просто невыносимо больно.

Доктор присвистнул:

— Такая, как вы, попадается одна на миллион.

— Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, что лишь у одной из миллиона это бывает именно так.

Доктор тихо и коротко сказал что-то медсестре, и та бросилась к боковому столику и принесла бинт и какие-то серебристые инструменты.

— Я прекрасно вижу, — доктор склонился надо мной, — в чем именно тут загвоздка.

— И вы в состоянии помочь мне?

Доктор рассмеялся:

— Ну конечно же, в состоянии.

* * *

Меня разбудил стук в дверь. Было за полночь и во всех палатах все давно спали. Я не могла даже представить себе, кто это решил меня проведать.

— Войдите!

И я зажгла лампу на ночном столике.

Дверь приоткрылась, и в проеме показалась большая, темная голова доктора Квинн. Я с удивлением восприняла этот визит. Хотя я и была знакома с доктором Квинн и часто виделась с ней в здешних коридорах, мы никогда ни о чем не разговаривали, ограничиваясь только легким кивком. А теперь она сказала:

— Мисс Гринвуд, можно к вам на минуту?

Я кивнула.

Доктор Квинн вошла в комнату, тихо затворила за собой дверь.

Она была в одном из своих неизменных строгих костюмов синего цвета, в треугольном вырезе на груди сверкала снежно-белая блузка.

— Мне жаль беспокоить вас, мисс Гринвуд, и в особенности в столь поздний час, но, мне кажется, вы могли бы помочь нам разобраться с вашей подругой Джоан. На мгновение я вообразила, будто доктор Квинн начнет сейчас упрекать меня за то, что Джоан пришлось вернуться в клинику. Я до сих пор не могла со всей уверенностью сказать, что именно вынесла Джоан из нашей поездки в больницу скорой помощи и что она поняла про меня, но несколько дней спустя она вернулась в «Бельсайз» и обосновалась здесь, сохранив, правда, почти неограниченное право на выход в город.

— Сделаю все, что в моих силах.

Доктор Квинн присела на краешек моей постели. Выражение лица у нее было тяжелое.

— Нам хотелось бы выяснить, где находится Джоан. Нам представляется, что вы могли бы в этом помочь.

Внезапно я ощутила острое желание отпереться от какого бы то ни было знакомства с Джоан.

— Понятия не имею, где она, — сказала я холодно. — А разве она не у себя в палате?

Отбой у нас был уже давным-давно.

— Ее там нет. Джоан сегодня вечером было разрешено отправиться в кино, и она до сих пор не вернулась из города.

— А кто с нею был?

— Она была одна. — Доктор Квинн сделала паузу. — Нет ли у вас хоть каких-нибудь догадок относительно того, где она может заночевать?

— Да наверняка она вернется. Просто где-нибудь задержалась.

Но я и сама не могла вообразить себе, что бы это задержало Джоан в скучнейшем вечернем Бостоне.

Доктор Квинн покачала головой:

— Последний троллейбус был час назад.

— А может, она возьмет такси?

Доктор Квинн вздохнула.

— А вы не связывались с этой девицей, как ее, Кеннеди? У которой Джоан недавно жила?

Доктор Квинн кивнула:

— Связывались.

— А с семьей?

— Ну, туда бы она никогда не отправилась... Но мы справлялись и там.

Доктор Квинн какую-то минуту помешкала, словно ища разгадку тайны в ночной тишине, а затем сказала:

— Что ж, мы сделаем все, что в наших силах. — И пошла прочь.

Я выключила свет и попыталась заснуть, но лицо Джоан, бесплотное и улыбающееся, плыло передо мной, напоминая улыбку Чеширского кота. Мне даже почудилось, будто я слышу ее голос, какие-то шорохи и вздохи во тьме, но потом я сообразила, что это ночной ветер шумит ветвями в больничном саду.

На морозной заре меня разбудил еще один стук в дверь.

На этот раз я открыла сама.

Передо мной стояла доктор Квинн. Она стояла навтыяжку, как полицейский сержант, но во всем ее облике чувствовалась какая-то подавленность.

— Думаю, я должна сообщить тебе об этом, — сказала она. — Джоан нашли.

Избранная доктором грамматическая конструкция заставила кровь похолодеть у меня в жилах.

— Где?

— В лесу, у замерзшего пруда...

Я открыла было рот, но не смогла произнести ни слова.

— Один из санитаров нашел ее, — продолжила доктор Квинн. — Только что. Когда он шел на работу.

— А она?..

— Умерла, — произнесла доктор Квинн. — Она, знаешь ли, повесилась.

Первый снегопад прошел над клиникой и вокруг нее. Не та жалкая россыпь, какая выпадает на Рождество, а добротный январский снег толщиной в человеческий рост — снегопад того сорта, что на день или два одевает наши школы, конторы, и церкви, и ветви деревьев своей пеленой, превращая блокноты для заметок, записные книжки с отмеченными в них свиданиями и календари в белую и чистую простыню.

Через неделю, если я выдержу собеседование с советом врачей, огромный черный лимузин Филомены Гвинеа унесет меня на запад и подвезет в аккурат к чугунным воротам моего колледжа.

Самый разгар зимы!

Массачусетс сейчас, должно быть, погружен в белое безмолвие. Я представила себе покрытые снегом деревни, заболоченную почву, шуршащую под ногой, как кошачий мех, пруды, в которых лягушки и жабы стыннут под ледяной коркой, дрожащие от холода леса.

Но под маскирующе ровной снежной гладью топография тамошних мест оставалась той же самой — и вместо Сан-Франциско, или Европы, или Марса я вновь попаду в знакомые мне края, со знакомыми ручьями, холмами и деревьями. И все же это казалось меньшим злом по сравнению с тем, что мне после полугодичного отсутствия предстояло вернуться туда, откуда я с таким треском вылетела.

Ведь, разумеется, всем все обо мне прекрасно известно.

Доктор Нолан сказала мне, хотя и как бы вскользь, что значительное число людей будет обращаться со мной настороженно, даже избегать меня, словно прокаженную с ее трещоткой. Передо мной всплывало лицо моей матери — бледная и скорбная луна — в ее первый и последний визит в клинику с тех пор, как мне стукнуло двадцать. Дочь в сумасшедшем доме! Вот ведь как я ее опозорила. И все же она явно намеревалась простить меня.

— Мы с тобой начнем, Эстер, с того места, на котором остановились, — сказала она со своей нежнейшей, прямо-таки мученической улыбочкой. — И будем вести себя так, словно все это было только дурным сном.

Дурным сном!

Для человека под стеклянным колпаком, бледного и обреченного на неподвижность, как мертвый младенец, дурным сном был весь мир.

Дурным сном!

И тут я кое о чем вспомнила.

Я вспомнила о трупах, и о Дорин, и об истории насчет смоковницы, и о бриллианте Марко, и о матросике с Коммонуэлс-авеню, и об ассистентке доктора Гордона, глаза у которой были как стена, и о разбитых градусниках, и о негре с его бобами и горошком, и о двадцати лишних фунтах, которые я набрала в ходе лечения инсулином, и о скале, восставшей между небом и морем, как череп.

Да оденет их снежной пеленой забвение, да заставит умолкнуть навеки!

Но они уже вошли в меня. Они стали частью меня самой. Стали моим пейзажем.

* * *

— К тебе мужчина! — Медсестра в белоснежном чепце, улыбаясь, просунула голову в дверь, и на какое-то мгновение мне почудилось, будто я и впрямь нахожусь уже в колледже — и

здешняя ослепительно белая мебель и белизна деревьев и холмов за окном являются всего лишь улучшенной версией моей комнаты в общежитии, с ее креслом и столом, составленными из никелированных трубок, и с видом на голую пустошь. «Тебя мужчина!» — кричала дежурная с первого этажа от нашего телефона.

Да и чем уж мы тут, в «Бельсайзе», так отличались от девиц из колледжа, в который мне предстояло вернуться? Они там тоже играли в бридж, сплетничали и читали книжки. И тоже находились под своего рода стеклянным колпаком.

— Войдите, — провозгласила я, и Бадди Уиллард с кепчонкой цвета хаки в руке вошел ко мне в палату.

— Привет, Бадди, — сказала я.

— Привет, Эстер.

Мы постояли, рассматривая друг друга. Я ожидала, пока во мне не проснется хоть какое-то чувство к моему гостю, хоть слабый всплеск эмоции. Тщетно. Я ничего не испытывала, кроме огромной, хотя и окрашенной в дружественные тона, скуки. Фигура Бадди в его курточке цвета хаки казалась такой же крошечной и настолько же не имеющей ко мне никакого отношения, как в тот день, год назад, когда он стоял далеко внизу подо мной на исходе лыжного спуска.

— Как ты сюда добрался? — спросила я после долгой паузы.

— На материной машине.

— По такому-то снегу?

— Честно говоря, — Бадди ухмыльнулся, — я по дороге застрял. Холм оказался для меня чересчур серьезным препятствием. Я здесь где-нибудь смогу разжиться лопатой?

— Можно взять лопату у садовников.

— Хорошо.

Бадди собрался отправиться к ним.

— погоди, я пойду помогу тебе.

И тут Бадди посмотрел на меня, и я увидела у него в глазах нечто незнакомое: ту же смесь любопытства и настороженности, которую мне уже довелось прочесть во взоре дамы из «Христианского знания», и моего преподавателя английского и литературы, и унитарийского священника. Все мои посетители смотрели на меня именно так.

— Да брось ты, Бадди, — рассмеялась я. — Я совершенно нормальная.

— Я знаю, Эстер, поверь мне, я знаю это, — зачастил Бадди.

— Это тебе надо бы побережись от физической нагрузки, а вовсе не мне.

Бадди и впрямь предоставил мне возиться с машиной самой. Главным образом.

Машина застряла на обледеневшем склоне холма по дороге в клинику, одно из колес съехало с колеи и забуксовало в снегу.

Солнце, пробившись из-за серых, как грязные саваны, туч заливало по-летнему ослепительным светом девственные склоны. Делая время от времени перерывы в работе, чтобы стряхнуть усталость, я ощущала ту же тревожащую, но приятную новизну, как при взгляде на подводные кустарники и травы. Как будто привычный порядок земного чуть сдвинулся — и началась какая-то новая фаза.

Я была благодарна судьбе за этот инцидент с застрявшей машиной. Он помешал Бадди задавать мне те вопросы, которые, как я понимала, он намеревался задать и которые он в конце концов задал низким, взволнованным голосом, когда мы сидели в «Бельсайзе» за послеполуденным чаем. Диди поглядывала на нас поверх своей чашки, как ревнивая кошка. После смерти Джоан ее на какое-то время перевели в «Уимарк», но теперь она вновь была с нами.

— А вот интересно... — Бадди поставил чашку на блюде с довольно решительным стуком.

— Что тебе интересно?

— Мне интересно... То есть, я хочу сказать, мне кажется, что ты можешь мне кое-что рассказать.

Взгляд Бадди встретился с моим, и я впервые отметила для себя, как переменился за это время мой былой ухажер. На смену прежней самоуверенной улыбке, вспыхивавшей у него на лице столь же легко и столь же часто, как магниевая лампа у профессионального фотографа, пришло тяжелое, пожалуй, далее занудное выражение.

У Бадди стало лицо человека, которому часто отказывают в том, чего он просит.

— Я расскажу тебе, Бадди, все, что смогу.

— Как ты думаешь, может быть, во мне есть нечто, сводящее женщин с ума?

Это было выше моих сил — я, разумеется, расхохоталась. Сочетание серьезности, которую дышало лицо Бадди, и расхожего смысла выражения «сводить с ума», который он явно недоучел, было просто убийственным.

— То есть, я хочу сказать, — совсем смешался Бадди, — я встречался с Джоан... а потом с тобой... и вот сначала ты... а потом она.

Кончиком пальца я бросила крошечный кусочек кекса в чай.

— Разумеется, ты ни в чем не виновата! — Так сказала мне доктор Нолан. Я пришла к ней поговорить о том, что случилось с Джоан, — и это был единственный случай, когда я видела доктора Нолан такой рассерженной. — Никто не виноват в этом! Только она сама!

И доктор Нолан поведала мне, что даже у самых лучших психиатров порой кончают с собой их пациенты и что они, хотя на них, казалось бы, и падает вся ответственность, придерживаются на этот счет совершенно противоположного мнения.

— Ты не отвечаешь ни за одну из нас, Бадди.

— Ты убеждена в этом?

— Абсолютно убеждена.

— Что ж, — выдохнул Бадди. — Я рад это слышать.

И он выпил свой чай залпом, как снадобье, предписанное врачом.

* * *

— Я слышала, ты нас покидаешь.

Я подстроила свой шаг к походке Валерии. Мы гуляли небольшой группой под надзором медсестры.

— Только если мне разрешат доктора. У меня завтра собеседование.

Слежавшийся снег скрипел под ногами, и отовсюду слышался мелодичный звон капли: полуденное солнце подтапливало сосульки и ледяную корку, которым предстояло опять застыть ближе к ночи.

Тени массивных черных елей были отчетливы на слепящем свету, а мы с Валерией гуляли под деревьями по хорошо знакомому нам лабиринту садовых тропок. Доктора, медсестры и пациенты, с которыми мы сталкивались на поворотах, передвигались, казалось, на колесиках и были видны нам только от пояса и выше. Все остальное скрывали сугробы.

— Собеседование, — фыркнула Валерия. — Ерунда это, а не собеседование. Если они собираются выпустить тебя, значит, все равно выпустят.

Перед фасадом «Каплана» я простилась с Валерией, спокойное, девически-белое личико которой ясно говорило о том, что с нею ничего особенного — ни плохого, ни хорошего — не может случиться, и пошла дальше в одиночестве, выдыхая облачка пара в пронизанный

солнечным светом воздух. Валерия на прощание крикнула мне от всего сердца:

— До свидания! Еще встретимся!

«Вот уж нет», — подумала я.

Но я была далеко не уверена. Я вообще не была ни в чем уверена. Откуда мне было знать, что когда-нибудь — в колледже, или в Европе, или где угодно, причем в любое мгновение, — стеклянный колпак не сомкнется опять у меня над головой и все не начнется сначала, став разве что еще хуже?

И разве Бадди не произнес, должно быть, в отместку за то, что я помогла ему выкопать машину из снега, пока он бессильно и бездеятельно стоял ря-дом, разве не сказал он мне: «Интересно, Эстер, за кого ты теперь выйдешь замуж?»

— Что-что? — переспросила я, стряхивая снег с лопаты и слепо моргая в клубках мокрой пыли.

— Интересно, за кого ты теперь выйдешь замуж. Теперь — после того, как ты побывала здесь. — И широким взмахом руки он обвел пространство, вобравшее в себя холмы, ели и несколько занесенных снегом больничных корпусов. — За кого ты теперь выйдешь замуж?

И разумеется, я не знала, кто теперь возьмет меня замуж. Теперь — после того, как я побывала здесь.

Я вообще ничего не знала.

* * *

— У меня тут счет, Ирвин.

Я тихо произнесла это в микрофон больничного телефона. Телефон стоял в главном холле административного корпуса. Сначала я заподозрила, что телефонистка будет подслушивать, но она с невинным видом играла своими проволочными контактами и не поднимала на меня глаз.

— Понятно, — сказал Ирвин.

— Это счет на двадцать долларов за услуги «скорой помощи» в определенный день в декабре и за осмотр неделю спустя.

— Понятно, — сказал Ирвин.

— В больнице мне сообщили, что они перешлют его мне, потому что счет, присланный тебе, остался неоплаченным.

— Хорошо, хорошо, я немедленно выпишу чек. Я выпишу чек, а сумму пускай они проставляют сами. — Его голос изменился и потеплел. — А когда мы с тобой повидаемся?

— Тебе действительно интересно это знать?

— Ну конечно же!

— Никогда. — И я резко бросила трубку.

Затем я поразмышляла, пришлет ли Ирвин в больницу счет после такой беседы, но потом подумала: «Разумеется, пришлет: он же преподаватель математики — и уравнение у него должно непременно сойтись».

Я почувствовала невероятную слабость и вместе с тем облегчение.

Голос Ирвина ничуть не взволновал меня.

Это был первый раз, когда мы разговаривали с ним после нашей единственной встречи, и я была абсолютно убеждена в том, что он окажется первым и последним. У Ирвина не оставалось абсолютно никакой возможности разыскать меня, кроме как поехать на квартиру к медсестре Кеннеди, а та после смерти Джоан переехала и не оставила нового адреса.

Я стала целиком и полностью свободна.

Родители Джоан пригласили меня на похороны.

Я была, как заявила миссис Джиллинг, одной из ее самых лучших подруг.

— Тебе совершенно необязательно туда идти, — сказала мне доктор Нолан. — Ты можешь написать им, что я не рекомендовала тебе посещение похорон.

— Я пойду, — сказала я, и пошла, и на протяжении всей церемонии — а она была весьма скромной — беспрестанно размышляла над тем, что же именно я сейчас, на свой собственный взгляд, хороню.

Гроб, выставленный перед алтарем, был засыпан белоснежными цветами. Черная тень чего-то, что нас уже покинуло. Лица скорбящих рядом со мной в свете свечей казались восковыми, а еловые ветви, оставшиеся в церкви еще с Рождества, разносили по холодному воздуху подобающий погребальный запах.

Рядом со мной стояла Джоди. Ее щеки были круглы и румяны, как два добрых яблока. И то здесь, то там я узнавала среди скорбящих знакомые лица — это были приятельницы Джоан по колледжу или по нашему городку. В переднем ряду склоняли аккуратно причесанные головки медсестра Кеннеди и Диди.

Затем, за гробом и за цветами, за лицом нашего священника и за лицами скорбящих, навстречу мне покати́лась кладбищенская ограда в глубоком, по колено, снегу. На кладбище надгробия торчали из снега, как дымоходы, из которых почему-то не поднимался дым.

В промерзшей земле вырыли черную яму глубиной в шесть футов. Тень, отдаю тебе в жены другую тень, — и знакомая желто-бурая земля здешних мест запечатает рану, нанесенную белизне снега, а очередной снегопад лишит могилу Джоан признаков даже этой новизны.

Я набрала полные легкие воздуха и прислушалась к тому, как отчаянно колотится у меня в груди мое сердце, заводя свою привычную песнь: Аз есмь, аз есмь, аз есмь.

Доктора проводили свое еженедельное совещание — всегдашние дела, неотложные дела, назначения, выписки и собеседования. Вслепую листая истрепанный номер «Национальной географии» в больничной библиотеке, я дожидалась своей очереди.

Больные в сопровождении санитарок кругами обходили полки с книгами, вполголоса советуясь с библиотекаршей, которая, на мой взгляд, была главным чудищем всей больницы. Глядя на нее — близорукую, паукообразную, чрезвычайно жалкую, — я думала о том, откуда ей, собственно говоря, известно, что она, в отличие от своих клиенток, здорова душой и телом.

— Только не бойся, — сказала мне доктор Нолан. — Я буду там, и других докторов ты тоже знаешь, и кое-кого из приезжих тоже. А доктор Уайнинг, главный врач, задаст тебе несколько вопросов, и сразу после этого тебя отпустят.

Но, вопреки ее уговорам, я была до смерти напугана.

Когда-то я надеялась на то, что к моменту выписки буду чувствовать себя уверенной и прекрасно ориентирующейся во всем на свете и, главное, в том, что предстоит делать мне самой, — в конце концов, не зря же меня подвергали «анализу». Но вместо этого любая моя мысль неизменно заканчивалась вопросительным знаком. Я то и дело бросала нетерпеливые взгляды на дверь кабинета, в котором проходило совещание. Мои чулки были по струнке, мои растрескавшиеся черные туфли — отменно начищены, мой красный шерстяной костюм — ярок,

как мои жизненные планы. Что-то старое, что-то новое...

Но я не вышла замуж. А это ведь, как мне представлялось, было непременным условием для начала новой жизни — пойти по тропе, оступиться и выйти на большую дорогу. Я как раз размышляла о подходящей кандидатуре в женихи, когда, словно бы ниоткуда, передо мной выросла доктор Нолан и, коснувшись моего плеча, произнесла:

— Пора, Эстер.

Я поднялась и пошла вслед за ней в кабинет.

Замешкавшись, чтобы перевести дух, на пороге, я увидела седовласого доктора, который в день моего прибытия сюда беседовал со мной о паломниках и о реках, и изрытое угрями трупобразное лицо мисс Хью, и глаза людей, которых я до этого видала только в белых повязках.

Глаза и лица разом повернулись ко мне, и, ведомая ими, как волшебной нитью, я вошла в глубину помещения.